

A521 Б1100296  
Кр.



# АЛТАЙ

1980

4

Электронная библиотека АУНБ, eLib.AUNB.RU



На первой и второй страницах обложки линогравюры А. ВАГИНА.  
1. Причуды зимы. 2. В деревне. 3. Молодые клены.

A521

кр.

# АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ  
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXXII  
№ 4 (94) 1980

## СОДЕРЖАНИЕ

### НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

Борис РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Наставники . . . . . 3

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владислав КОЗОДОЕВ. «А сколько нам до августа осталось...» Стихи . . . 12

Евгений ГУЩИН. Бабье поле. Повесть. . . . . 15

Владимир СОКОЛОВ. В июле. «Был ясным день...». Мгновение. «Острова Прибы-  
лова...». Старый волк. Окна. «На языке любви невнятном...» Стихи . . . 53

### ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений ШЛЕЙ. Земное эхо солнечных бурь . . . . . 54

### КРИТИКА

Николай ЯНОВСКИЙ. «Я — жизнь свою даю!» . . . . . 61

### САТИРА И ЮМОР

Валерий ЗОЛОТУХИН. Импровизация. Рассказ из жизни Ивана Чайникова . . 67

### ДЛЯ ДЕТЕЙ

Василий НЕЧУНАЕВ. «Грамотей среди детей». Стихи . . . . . 70

БАРНАУЛ · АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО · 1980



61100296

Редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, И. И. БЕРЕЗЮК, П. А. БОРОДКИН,  
Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. КВИН,  
В. Н. ПОПОВ, Н. М. ЧЕРКАСОВ, О. Н. ШЕВЧУК

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1980 № 4

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.  
Корректор А. Дмитриев

Рукописи не возвращаются

ЛГ 00195. Сдано в набор 9. 10. 1980 г. Подписано к печати 13. 11. 1980 г. Формат  
84x108/16. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,105. Тираж 7000 экз.  
Заказ № 1855. Цена 40 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам  
издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.  
Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии  
и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656056, Барнаул, Ленина, 8. Тел. 3—09—21

© Алтайское книжное издательство. Альманах «Алтай», 1980 г.

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

2/1  
КР

Борис РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

## НАСТАВНИКИ

Как-то в электричке довелось мне стать свидетелем горячего спора двух ребят, по всем приметам пэтэушников. Нисколько не смущаясь того, что их разговор слышат посторонние, они доказывали друг другу:

— Хо, медаль... У моего орден и две медали! — восклицал один, другой тут же отвечал:

— А мой — заслуженный механизатор республики. Вот!

Разговор, как оказалось, шел о наставниках. Ребята действительно только что окончили сельское профтехучилище. Однако их учеба на этом не остановилась. В совхозе, где они теперь работали, за их дальнейшую, уже практическую выучку взялись опытные механизаторы, потому что в стенах училища так не овладеешь хлеборобским мастерством, как непосредственно в поле. Да это и невозможно. В каждом хозяйстве имеются свои особенности, без учета которых высокого урожая не получишь. И вообще становление истинного земледельца идет гораздо быстрее, когда рядом, плечом к плечу, старший товарищ. Ребята и вели об этом разговор. Но, главное, они были очень довольны и считали, что им чертовски повезло с наставниками. Вот и «kozyряли» друг перед другом.

Наставник... Это слово сейчас часто можно увидеть на страницах газет, услышать по радио или в разговорах. Многие тысячи лучших людей города и села, ударников производства, коммунистов и комсомольцев — у станков, в поле, в кабинах машин, за прилавками магазинов, на лесных делянках, в строительных бригадах — всюду, где кипит созидательный труд, учат вступающую в жизнь молодежь передовым приемам работы, коммунистическому отношению к делу, воспитывают у новой смены высокие нравственные качества.

В свое время, более десяти лет назад, мне

как журналисту посчастливилось стоять у истоков славного движения шефства и наставничества. Тогда мало кому известный тракторист совхоза «Чумышский» Кытмановского района коммунист Михаил Федорович Голиков, ныне Герой Социалистического Труда, заслуженный механизатор РСФСР, призвал своих знакомых и незнакомых товарищей взять под свою опеку молодежь.

«Я обращаюсь к вам, коммунисты и опытные механизаторы! — писал он. — Собственная высокая выработка говорит, конечно, о многом. Но это далеко еще не заслуга, если только ты один сумел подняться на высоту. Нужно привести с собой к победе еще одного или двух молодых, начинающих трактористов или комбайнеров...»

Это письмо Михаил Федорович писал в совхозном парткоме, куда пришел поделиться своими мыслями. Заглядывал вроде ненадолго, но вышел только спустя несколько часов. Секретарь парткома сразу оценил идею и чуть не силой усадил Голикова за стол. А вскоре собрались все члены партийного комитета. Они одобрили инициативу совхозного механизатора. А покидая кабинет, увозили с собой в бригады и отделения уже отпечатанный текст призыва.

Спустя день письмо Голикова было помещено на первой полосе «Алтайской правды». Помню, я привез его в редакцию после обеда, когда текущий номер был уже готов. Тем не менее материал тут же пошел в типографию. Что-то сняли, что-то урезали, а для письма место освободили.

И началась цепная реакция...

Своего коллегу горячо поддержал его сосед из Сорокинского района Герой Социалистического Труда тракторист Михаил Иванович Гусельников, активно откликнулись механизаторы из Тальменки, Павловска, Кулунды, а за ними новые и новые десятки и сотни земледельцев, животноводов, ударников промышленного производства.

Однако пусть не создается впечатление, что шефство и наставничество зародились, как бы сказать, совершенно на голом месте. Не было ничего и — на тебе. Это было бы в корне неверно. И Голиков, и Гусельников, равно как и многие их единомышленники, давно имели учеников, работали с молодежью. Но это были, если можно так выразиться, пионеры, первопроходцы.

Теперь же настал момент, когда количество должно было перейти в качество. Движение шефства и наставничества постепенно стало приобретать громадное общественное значение, заметно сказываться на формировании большого отряда рабочего класса и

земледельцев, приняло организованный характер.

Вот любопытные цифры. В 1968 году в крае насчитывалось около 2 тысяч наставников. Спустя десять лет на очередном краевом совещании шефов и наставников была названа цифра — 55 тысяч! Небольшой по масштабам Алтая отряд превратился в мощную армию.

Кто же он такой, сегодняшней рядовой этой армии? Каков его социальный портрет? И главное — как он воспитывает молодежь?

Прежде чем давать ответы на эти вопросы, разберем само слово — наставник. В Большой Советской Энциклопедии объяснения ему не дано. А жаль. Лишь в статье о социалистическом соревновании говорится о том, что «в девятой пятилетке получили распространение такие почины, как... наставничество». Но вот особенно в последнее время в периодической печати и в «солидных» изданиях появилось немало разработок и исследований, где даются определенные толкования. Они гласят, что наставник — это мастер своего дела, который добровольно берет на себя обязанности по трудовому обучению и воспитанию молодого рабочего. Что ж, более или менее верно, хотя и не всесторонне. Потому что, как мы увидим дальше, сфера деятельности наставников давно перешагнула рамки чисто трудового обучения.

В одном из изданий мне с удивлением пришлось прочесть и такое: ученичество-де существует испокон веку. Выходит, если стать на точку зрения автора, ничего особо нового в шэфстве и наставничестве нет. Что на это сказать? Да, когда-то ребят, преимущественно из бедных семей, отдавали на выучку ремесленникам. Но как и чему их там учили?

«Мои обязанности в мастерской были несложны: утром, когда еще все спят, я должен был приготовить мастерам самовар, а пока они пили чай в кухне, мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков, затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и присматриваться к ремеслу».

Знакомое? Да, да, это из повести «В людях» Максима Горького. «Присматриваться» можно было годами и в конце концов ровным счетом ничего не уметь. А старые мастера вообще цепко держались за свои секреты. Так что никаких параллелей тут не может и быть.

Пусть читатель простит меня за отступление, но мне в связи с этим вспоминается одно заседание партийного комитета в колхозе имени Ленина Тальменского района. Отчитывался коммунист-тракторист о своей шэф-

ской работе. Я не буду называть его фамилии, дело не в ней. А в том, как члены парткома подходили к делу. Они строго спрашивали:

— Почему парень, которого мы тебе дали в ученики, слабо работает, не всегда выполняет нормы? Ты-то ведь идешь хорошо. Почему его не научил? Снимаем у тебя за это баллы в соревновании!

Вот такой подход. И я добавлю — очень верный. Члены парткома исходили из того, что пройдет немного времени и на плечи молодого парня ляжет ответственность за судьбу производства. Следовательно, надо помочь ему быстрее найти свое место в коллективе, воспитать в нем человека, на которого можно положиться.

Ну а теперь вернемся к заданным вопросам. На журналистских путях-дорогах мне приходилось встречаться со многими наставниками. Почти каждый из них был чем-то интересен, у каждого наблюдались своеобразные приемы воспитания молодежи. Однако в этом очерке я расскажу в основном об одном из них — о Владимире Васильевиче Петлюке, бригадире-лесозаготовителе Тягунского леспромхоза. Не потому, что знал я его хорошо. А потому, что в нем как бы концентрировались многие характерные черты, присущие наставникам.

\* \* \*

Мое знакомство с Петлюком произошло при интересных обстоятельствах. Я приехал в леспромхоз за материалом о работе партийных групп. Командировка была одной из приятных: лишней раз представлялась возможность полюбоваться одним из красивейших уголков Алтая. Рабочий поселок Тягун почти со всех сторон окружен тайгой. На десятки и сотни километров распростерлась она, а вернее, он — огромный зеленый цех предприятия. Там, на лесных делянках, зимой и летом, в мороз и жару, идет заготовка ценной древесины. Оттуда большегрузные машины доставляют на разделочные эстакады в поселок толстые и длинномерные сосновые стволы, здесь именуемые хлыстами. Из года в год лесозаготовители Тягуна хорошо справляются со своими планами и в соревновании с другими коллективами занимают обычно классные места. Много в леспромхозе молодежи. И это понятно. Какой бы ни была современная техника — и мощной, и легко управляемой, но лес любит людей сильных, мужественных, смелых. А эти качества больше всего присущи молодым.

Разговор о них, молодых лесозаготовите-

лях, мне первым делом и довелось услышать в парткоме. В небольшом кабинете сидели двое: давнишний мой знакомый Иван Григорьевич Проскурин, которого уже много лет коммунисты предприятия избирали своим вожаком, и плотный, широкогрудый мужчина с обветренным лицом, какое бывает у людей, целыми днями работающих на воздухе.

— Петлюк, — коротко представился он, пожимая руку.

Иван Григорьевич пригласил меня сесть.

— Мы сейчас кончим, — сказал он.

Я взял было в руки какой-то журнал, лежащий на столе, но первые же услышанные слова заинтересовали.

— У тебя, Владимир Васильевич, в бригаде пятеро ребят, и ни один не учится, — говорил Проскурин. — Трудятся они хорошо, это всем известно, но вот смотри... — Иван Григорьевич достал небольшую тетрадку. — У одного только восемь классов, у двоих — по семь... Словом, поговори с ними как следует, убеди, заставь в конце концов. Они тебя, я слышал, как отца слушаются. Ну, чего ты молчишь?

Петлюк несколько смущенно покашлял.

— Поговорить не штука. Только, видишь ли, Иван Григорьевич, у меня самого только восемь классов.

Проскурин удивленно воззрился на собеседника.

— Ты-то при чем? Ну, восемь... Так тебе уже за сорок! А потом, я же знаю, какие у тебя условия для учебы были. У них же — все что угодно, только не ленись!

Петлюк туда-сюда повертелся на стуле, отчего тот жалобно заскрипел, потом в свою очередь глянул секретарю в глаза.

— То, что ты говорил, вроде и правильно. Но пойми, совестно мне будет их агитировать, когда сам... — Бригадир внезапно замолчал, что-то подумал, потом решительно махнул рукой. — Ну, ладно, раз такое дело, то я сначала сам сегодня же пойду к директору вечерней школы, подам документы в девятый. Ну, а после этого... — Он довольно засмеялся. — А после этого убеждать не придется, самим им стыдно станет!

Проскурин только руками развел.

— А перерыв-то свой в учебе забыл? Не боишься?

Петлюк покивал головой.

— Не забыл! Попотеть придется. Ну что ж... Зато какой же я буду шеф, если примера не подам?

После его ухода Иван Григорьевич сказал:

— Видал, а? Между прочим, он всегда такой. За что и любят его в коллективе, осо-

бенно молодежь. Лучший наставник по лес-промхозу!

Спустя месяца три, глубокой осенью, я звонил Проскурину: «Как там Владимир Васильевич?» Далекий голос отвечал: «Нормально. Чуть не всей бригадой ходят в вечернюю школу!»

Таким было наше первое знакомство. За ним последовали многие встречи, приведшие к тесному сближению. Петлюк «раскрывался» не сразу, а, если можно так выразиться, кусочками, как тогда, в кабинете секретаря. Но из этой мозаики спустя несколько лет можно было слепить уже и целостную картину. Окончательно довершить ее мне помог добрый случай. По инициативе крайкома партии большая группа шефов-наставников Алтая совершила поездку на туристическом поезде по городам-героям страны. С этой группой в качестве корреспондента путешествовал и я. Вот когда мы с Владимиром Васильевичем, что называется, досыта наговорились!

В первую очередь меня интересовало главное: как Петлюк стал наставником? С какого именно момента почувствовал себя вправе учить молодежь? После того ли, как в партию вступил? Или стал бригадиром? А может, с тех пор, как на груди один за другим начали появляться награды: орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина?

Владимира Васильевича мой вопрос в какой-то степени даже озадачил. Он подумал. Потом засмеялся.

— А ведь, ей-ей, я и сам не знаю, когда с ребятами начал возиться. Тут не скажешь: вот мол с 20 марта или апреля стал наставником. Сколько помню, всегда старался кому-то помогать... Но другое дело — почему? Тут сказ особый. Надо к давним временам обращаться. Был в моей жизни один человек. Хочешь послушать? Ну ладно, поехали...

\* \* \*

Трудиться Володька Петлюк начал в годы войны. Лет ему было совсем немного, но в деревне в ту пору и такие подростки считались мужчинами. Еще слыл Владимир ухорезом. В компании северстников шастал по огородам, откалывал и почище номера. Кто знает, что бы получилось дальше, если бы перед концом войны не вернулся с фронта контуженный солдат Андрей Быков. Старый механизатор, он каким-то чудом привел в порядок выдавший виды ЧТЗ и стал на нем работать. А в помощники взял... Володьку Петлюка. Понравился он ему, видимо, не только своим удальством, но и пытливым взглядом серых глаз, любознательностью.

Учителем Быков был хорошим. Месяца не прошло, а его подшефный, как бы сказали сейчас, уже уверенно сидел за рычагами. Однако не все шло гладко. И если говорить откровенно, то не раз и не два Володька склопатывал по шее. Быков, чуть что, страшно нервничал, и под горячую руку к нему не лезь. Но Владимир не обижался, он чувствовал, что это не со зла.

В свободную минуту фронтовик рассказывал пареньку о войне, о своих товарищах, о героизме и трусости, о многом таком, о чем Владимир еще и не задумывался. Исподволь подводил беседу под главное.

— Не туда свою силу, Володька, тратишь. Кто вчера у моей соседки разобрал ночью в ограде поленницу и поперек улицы сложил? Молчишь? А года ведь идут, их не возвращешь обратно. Вот и смекай, милоч, как жить!

Андрей крутил большую махорочную загогулину и, затянувшись, продолжал:

— Был у нас парнишка-доброволец, года на три-четыре постарше тебя. Когда его убили, весь полк, поверишь, плакал. Он грудью своей пулеметную точку накрыл. Горячее у него сердце было.

После таких разговоров Владимир долго по ночам ворочался в постели. Новые понятия, мера вещей, взгляды входили в его жизнь.

Потом, позже, он вступил в комсомол, в партию... Они сформировали его, выковали характер. Но первую ступеньку гражданской мудрости, может, самую трудную, помог ему преодолеть Андрей Быков, добрый шеф и наставник, память о котором сохранилась у Петлюка на всю жизнь.

— Андрей Быков, по сути, и определил меня в наставники, — подвел черту Владимир Васильевич. — Я как бы его наследник. Сначала вроде долг отдавал. А потом это перешло в потребность.

Очень точное и хорошее слово нашел Петлюк — потребность. Оно включает в себя и долг, и желание, и обязанность передать кому-то свой опыт, сноровку, жизненные наблюдения. Нет потребности, то есть собственного побуждения, нет и наставника. На этот пост не назначают.

Я чувствую, мне могут возразить: как же так, ведь зачастую именно назначают наставников, официально закрепляя за ними молодежь?

Да, это так. Но здесь нужно четко различать два понятия: назначать и заставлять. К сожалению, нередко встречается еще и последнее. Поэтому, и отдавая приказ, необходимо твердо знать: способен ли человек учить

других, желает ли? Не секрет, есть люди, что идут в наставничество из-за добавки к зарработке за обучение молодежи. А я вот, к слову, знаю одного сельского механизатора, который наотрез отказался получать деньги за шефство. «Это дело душевное, — сказал он, — и с какими-то расчетами его нельзя мешать!» Над этим стоит задуматься.

Но вернемся к Петлюку. Мы все же установили с ним, хотя и примерно, что свой стаж наставничества Владимир Васильевич ведет с середины 60-х годов. За это время через его руки прошло не менее 15 пареньков. Это только тех, кто непосредственно работал вместе с ним на тракторе, так сказать, «официальных». А сколько их было в бригаде?

Потом разговор зашел о самих уроках труда и жизни, о рабочей педагогике. У нас, кстати, имеется много литературы об опыте учителей. Но до обидного мало исследований и материалов о труде наставников. Сразу оговорюсь, в данном очерке автор тоже не ставил перед собой цели глубокого обобщения опыта. Это — простой рассказ о лично увиденном и услышанном. Но если кто-то найдет в нем нечто полезное для себя, то это будет только на пользу делу.

\* \* \*

Был у Петлюка подшефным Шурка Чернышев. Паренек исполнительный, старательный. Сначала поработал чокеровщиком. Немного спустя перебрался в кабину, трактор-то изучал еще в школе. Так что дело пошло. Причем, если со стороны поглядеть, то пошло вроде само по себе. И тут-то и сказывалась петлюковская особенность. Он не любил сидеть над душой у ребят. Когда видел, что у них хоть немного клеится, то доверял трелевку или выполнение какой другой операции самостоятельно. Может, поэтому и трактор у него ломался чаще, чем у других. Но Владимир Васильевич не расстраивался. Сломался — вместе ремонтируют. Он даже смеялся, когда видел, что его ученик... засадил трактор на пень. «Нашел-таки его, а? — говорил он при этом. — Ну, молодец! Подожди, не рви трактор, не рви. Лучше раскинь мозгами, как сняться». После такого урока парень уже никогда не повторит ошибки. А ведь что скрывать, другой бы просто-напросто прогнал оплошавшего ученика с глаз долой и точка. И что у того бы осталось? Неуверенность в себе, озлобление...

Так вот, с Шуркой. Петлюк оставил как-то на него трактор, а сам ушел. Шурка с частрелевал нормально. Потом стал сдавать назад и не заметил наклонной лесины. Конеч-



но, если бы тихо сдавал, то все и обошлось бы, а Шурка торопился, хотелось блеснуть перед шефом выработкой, вот мол за твое отсутствие сколько леса наворочали. Лесина же, как пика, вошла в трактор, погнула вентилятор, тот в свою очередь порубил несколько трубок радиатора. Брызнула вода.

Шурка отчаянно забегал вокруг. Он побледнел, растерялся. А тут еще набежали работавшие на лесосеке ребята. Молодежь есть молодежь. Посыпались шутки.

— Ну, берегись, Петлюк придет — штаны снимет!

— Это уж точно, трактор-то новый, он над ним трясется.

И тут действительно показался бригадир. Напуганный Шурка, завидев шефа, бросился бежать и спрятался за первое попавшееся дерево.

Петлюк подошел, быстро разобрался, что к чему, оглядел всех.

— Что собрались? А ну марш за работу! Обрадовались случаю позубоскалить!

Когда все ушли, он негромко окликнул:

— Вылазь, вижу ведь где!

Шурка несмело подошел. Владимир Васильевич достал инструмент, протянул плоскогубцы.

— Держи-ка!

Вдвоем крепко зажали поврежденные трубки. Вновь залили воды. Выправили лопасти вентилятора.

— Давай работай! — спокойно сказал Петлюк. — Вечером снимем радиатор и запаяем.

И опять, словно ничего не произошло, пошел к мастеру. Надо было закрывать месячные наряды.

Когда Петлюк рассказал мне об этом случае, я спросил:

— Что, и на самом деле ты так спокойно все воспринял?

— Куда там! — засмеялся он. — Внутри у меня, как в радиаторе, закипело, но я не дал настроению выплеснуться, сам себе сказал: «Спокойно, наставник! Ты ведь хочешь, чтобы парень быстрее набрался опыта? А опыт и такой бывает. Так что охлади свой пыл. Вон парень как испугался».

Спустя некоторое время я встретился и с самим Шуркой — Александром Чернышевым. Он уже трудился самостоятельно. Был на хорошем счету в леспромхозе. И в партийном комитете сложилось даже мнение определить его в наставники. Что ж, эстафета продолжалась, не могла не продолжаться.

Мы сидели на поваленном дереве, и Александр первым делом заявил:

— Дядя Володя — человек!

В это слово Чернышев вложил максимум смысла, но, видимо, подумав, что я смогу и не разобраться в оттенках, перешел на более понятный язык:

— У нас все ребята его уважают. Бывает, собираемся что натворить, и вдруг кто-то скажет: «Хлопцы, а если бригадир узнает?» И — все. Ну, а похвалит кого Петлюк, у того надолго праздник.

Да, видимо, нужно занять прочное место в сердцах ребят, чтобы твоим мнением, отзывом так дорожили и о тебе так говорили.

Встречаясь с наставниками молодежи, я в числе других обычно задаю им постоянный вопрос о критериях их шефской работы. Ответы в своем большинстве сводятся к тому, что если тот или иной парень или девушка стали выполнять и перевыполнять нормы, уверенно трудиться, хорошо разбираться в технике, то, выходит, дело сделано, поставленная задача выполнена.

У Владимира Васильевича мнение было несколько другое.

— Если ребята, побывав у тебя, стали лучше относиться к работе, полюбили ее, считай, что ты добился цели!

Петлюк, как всегда, хватывал самый корень. Да, нужно обучать мастерству, передовым приемам труда, помогать овладевать техникой. Но если твои подшефные не будут вкладывать в дело «частицу своей души», как образно выразился Леонид Ильич Брежнев, — что тогда?

— Тогда толку будет мало! — говорил Петлюк.

Так вот и определилась главная сущность наставничества — воспитание у молодежи коммунистического отношения к труду.

Как же это достигалось? Ведь не прикажешь на самом деле парню, чтобы он немедленно полюбил работу, стал отдавать ей все свои силы, знания? Да и само слово — воспитание — подразумевает повседневную, вдумчивую, кропотливую работу.

Петлюк, по его собственному выражению, искал «ключики». Вот он в конце рабочего дня собрал бригаду и при всех торжественно поздравил паренька с выполнением нормы. Сделал, казалось, рядовой факт событием. А у парня сердце взыграло, желание закипело: завтра еще лучше поработать!

Таких «ключиков» у Владимира Васильевича было немало. Он, как и многие передовые наставники, понимал задачу воспитания коммунистического отношения к труду очень широко, старался одновременно втягивать ребят в духовные сферы жизни, приобщать их к активному служению обществу.

Был у него подшефным Геннадий Забродин. Парень окончил профтехучилище, показал себя смекалистым, способным. Однако, как бы ни было, а в леспромхозе немало удивились, когда, уходя в отпуск, Петлюк оставил его за себя. Даже секретарь парткома и тот заметил:

— Послушай, Владимир Васильевич, ведь Забродин, кажется, и года еще не проработал у тебя. Ни опыта руководства бригадой не имеет...

— Зато стараться будет, — просто отвечал Петлюк. — А насчет опыта... У меня тоже его не было, когда меня ставили на бригаду.

— Так это ведь ты!

— Ну, а тут — Забродин. У него добрая, кстати, хватка.

Геннадий действительно старался. Помогли, конечно, и товарищи, и партгруппа, с которой Петлюк имел перед отъездом разговор. Словом, бригада в отсутствие Петлюка выполнила план, как и всегда, с солидным доверием.

Вскоре после возвращения Владимир Васильевич сказал Забродину:

— Вечером у нас партсобрание, подходи, пойдем вместе!

— Так ведь я беспартийный!

— Ничего, собрание открытое.

Уже близко к полуночи, по дороге домой, Геннадий доверительно сказал:

— А здорово было!

Для него открылся совершенно новый мир. Он видел и слышал, как коммунисты остро критиковали администрацию предприятия за допущенные промахи, как тут же сами вносили дельные предложения. Да и вообще обстановка понравилась: дружественная, доверительная, словно на собрании находилась одна большая семья.

Через несколько месяцев Петлюк давал Забродину рекомендацию для вступления кандидатом в члены партии.

Так звено к звену и протягивается цепочка — от обучения мастерству до активности в коллективе, до понимания глубоких вопросов жизни. Именно во всем этом коммунист Петлюк и видел свой долг наставника.

Теперь о сроках. Петлюк считает, что учить ребят надо полтора-два года. За этот срок вполне можно передать свой опыт, помочь овладеть профессиональным мастерством. Но ко всему этому Владимир Васильевич добавлял вот что:

— Не надо смешивать два понятия: наставничество и шефство. Первое действительно

но может быть ограничено определенным сроком, потому что и преследует вполне конкретную цель: помочь человеку крепче стать на ноги. Что же касается шефства, то оно, я думаю, должно продолжаться значительно дольше. Не знаю как кому, но мне те ребята, что побывали на выучке, становятся как родные, ведь в каждом из них — я сам. Почему же я должен прекращать шефствовать над ними? Именно после того, как я обучил того или иного парня мастерству, я просто обязан помогать ему утверждать себя в жизни и в дальнейшем.

Это не просто слова. Возьмем Виктора Чернышева, давнишнего выученика Петлюка, а сейчас — звеньевое, одного из передовиков соревнования в леспромхозе. Встретившись с ним как-то, я спросил, какие у него отношения с Петлюком.

— С моим шефом? — переспросил Виктор.

Оказывается, Владимир Васильевич по-прежнему продолжал, теперь уже дружескую, опеку над младшим товарищем.

— Он меня чуть не силком уговорил закончить среднее образование, — рассказывал Чернышев, — за что я ему теперь страшно благодарен. Дал рекомендацию в партию. А сейчас вот настаивает, чтобы я дальше учился.

Знакомый почерк Петлюка!

Однако до сих пор я рассказывал о том, как неплохие ребята приходят к опытному наставнику и сами становятся вскоре добрыми мастерами и хорошими членами коллектива. Но в жизни не всегда так бывает. Часто наставникам приходится решать и трудные задачки, иметь дело с «крепкими орешками».

Николай К. свалился в бригаду как снег на голову. Где только он не работал! В свои двадцать с небольшим успел побывать и в местах заключения. Верно, как потом выяснилось, по дурасти, но факт есть факт. И Николай даже бравировал этим: вот мол я какой! На предприятиях от него старались быстрее избавиться: отпетая головушка!

Петлюк повел себя с новым учеником, как и со всеми, ровно, спокойно. К концу второй недели уже стал знакомить с трактором, рассказывать о приемах трелевки.

Но произошло и первое столкновение. Однажды у ребят случилась заминка с обрубкой сучьев. Петлюк помахал Николаю рукой: дескать, оставь чокеры, возьми топор, помоги. Тот отвернулся, как будто и не слышал. Тогда бригадир сам соскочил с трактора и, ни слова не говоря, заработал топором. Через

минуту почувствовал толчок в бок. Оглянулся — Николай.

— Давай, что ли, порублю!

К вечеру Петлюк слышал, как ребята «прорабатывали» новенького. Тот огрызался.

— Что я вам — сучкоруб?

— А у нас все заодно. Понял?

Так Николай стал узнавать законы бригады. Втягивался в ритм. А вот с выпивками не бросал. Особенно в дни получек. Петлюк как-то поговорил с ним один на один, не особенно, правда, рассчитывая на результат. Николай, по своему обыкновению дурачась, развел руками:

— Да я бы, шеф, бросил эти выпивки, самому, признаться, надоели, да друзья не дают. Как получка, так и они здесь.

— А ты развяжись с деньгами, — посоветовал Петлюк. — Ну, поручи своим домашним получать или на книжку переводи. Спокойнее будет.

Николай обещал подумать.

Спустя несколько дней Владимиру Васильевичу рассказывали в бухгалтерии лесопункта:

— Приходил этот твой, ну, который в колонии был. Встал на пороге, буркнул: «За деньгами станет мать приходить. Если подписать надо что для этого, давайте!»

Это было первой небольшой победой. Но и «друзья» не дремали. Соблазнили раз Николая дармовой выпивкой и двое суток не отпустили.

А в бригаде в это время положение было не из лучших. Двое лесорубов заболели, и оставшимся каждому пришлось работать за двоих. План висел на волоске. И вот на третий день утром появился Николай. Ребята настроились судить его как прогульщика товарищеским судом и выгнать из бригады: толку не будет!

Но Петлюк сказал:

— Выгнать не штука. Даже проще простого. А куда он пойдет? По старой дорожке? И еще. Неужели мы все такие слабые, что не можем одного человека воспитать, а? А ведь у Николая немало и хорошего, вспомните-ка...

Да, кое-что припомнилось... Ребята остыли, решили посмотреть, как будет вести себя сам Николай.

А он уже знал, как туго приходилось в его отсутствие бригаде, и, не давая себе передышки, стал ворочать и ворочать. Дело налаживалось.

И вдруг — новый срыв. Опять дружки подбили на выпивку. На этот раз Николай, даже не заходя в бригаду, ушел из лесопункта, рассчитался.

Никто ничего не говорил Петлюку. Но он почувствовал — ребята теперь уверились в своей правоте. Однако какой-то внутренний голос подсказывал Владимиру Васильевичу, что с Николаем они еще встретятся.

Так и вышло. Через два месяца он появился на лесосеке.

— Примете? Слово даю — завязал намертво!

Ребята посмотрели на Петлюка, он — на ребят.

— Оставайся.

В один из вечеров Владимир Васильевич пригласил Николая к себе в гости. Кстати, все его подопечные не раз и не два бывали у него, и вообще двери дома Петлюка всегда были открытыми.

Семья у Петлюка большая. Четверть века прожил он со своей женой Анной, которая трудится тут же, в бухгалтерии лесопункта. Пятерых детей вырастили. Одни уже улетели из родительского гнезда, другие еще учатся, начинают работать.

В комнатах, куда ни помотришь — книги, музыкальные инструменты, шахматы, шашки... На стене — ружьишко. В углу — спортивный инвентарь. Видно, что у членов семьи много разных интересов.

И Николай это почувствовал.

— Правильно живешь, шеф, а я вот...

В тот первый вечер он долго не уходил от Петлюков, наблюдал, вступал в разговор. Потом, спустя несколько дней, сам постучался в знакомую дверь.

Трудно судить, как в дальнейшем сложится судьба этого парня. Но добрые семена в него уже брошены. Жаль, что Петлюк этого уже не увидит: недавно Владимира Васильевича не стало...

Я не знаю, встречали ли Владимир Васильевич у Горького такое выражение: «Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего, думай, что хорошего больше в нем — так это и будет!», но что такой принцип у Петлюка на вооружении был — это уж точно.

\* \* \*

Я иногда представляю себе лабораторию или методический кабинет при больших профсоюзных комитетах, которые изучали бы и обобщали опыт вот таких наставников, как Петлюк. Отсюда бы исходили рекомендации, советы... Но, увы, пока таких лабораторий и кабинетов нет, и сколько драгоценного опыта уже утрачено. Между тем у многих шефов-наставников есть такие уроки, о которых надо бы рассказывать и рассказывать.

В совхозе «Чумышский» Кытмановского

района живет и работает опытнейший тракторист Василий Алексеевич Волоколупов. Он настойчиво много лет занимался обучением и воспитанием молодежи. У Василия Алексеевича есть что-то от выдающегося педагога Сухомлинского, от его принципов, приемов.

Ходил у него в подшефных Виктор Красилов, выпускник СПТУ. Начали они работать вместе с весны, во время сева. И вот однажды Волоколупов поднял Виктора ранним-рано, еще и солнце не вставало. Прикатали на мотоцикле на поле, которое сами же незадолго засевали. Утро было теплым, а тут еще и солнечные лучи брызнули на землю и от нее заструился легкий пар. На этой-то парной земле и произошло чудо.

— Дядя Вася, смотри — всходы! Вчера ведь не было, когда мы проезжали!

Да, повсюду высыпали тонюсенькие, нежные иголочки. Оба наклонились над землей. Маленький камушек на глазах вдруг пошелвился и отвалился в сторону, а из-под него — новая иголочка.

— Видели? — почему-то шепотом спросил Виктор.

— Сила, брат, — тоже тихо ответил Волоколупов. — В городах асфальт крушит.

Парень завороченно смотрел на поле. Вот ведь в деревне родился и вырос, а при таком таинстве впервые довелось быть. Какое-то новое, незнакомое чувство шевельнулось в груди. Это же он, Виктор, засеивал поле, дал жизнь этим иголочкам!

— Вот ради чего работаем! — просто сказал Волоколупов. — Добрый хлеб должен быть. Твой — первый.

Подобные уроки вряд ли забудутся. Пройдут годы, а это утреннее, парное поле, эти иголочки, все это, вместе связанное словом — хлеб, останется навсегда, не может не остаться, потому что в такие минуты и рождается хлебобоб.

Владимир Иушин, два года работавший вместе с Волоколуповым, накрепко запомнил другой его урок.

Однажды оба они обедали в поле, у тракторов. Покончив с едой, Владимир машинально стряхнул с газеты хлебную корку. Волоколупов встал, бережно поднял ее, сдул пыль, взвесил на широкой ладони. Потом задумчиво сказал:

— Знаешь, а я в войну премию раз получил за колосья, мешок за день собрал. Не помню сейчас, сколько гектаров излазил, но порядочно. Коленки у меня все в крови были от колкой стерни, потом с неделю ходить было больно.

Память лучше всего хранит яркие обра-

зы. Вот и у Иушина теперь слово «хлеб» прочно связалось с мальчишкой, ползающим на изодранных коленках по широкому полю в поисках колосьев.

Уверен, каждый опытный шеф, наставник многое может поведать о своих занятиях и уроках. И как бы пригодились эти рассказы, собранные воедино, тысячам и тысячам воспитателей молодежи.

\* \* \*

Как и всякое жирное дело, шефство и наставничество постоянно находятся в движении, в развитии.

Летом, в пору уборки, мне довелось побывать в колхозе «Октябрь» Кытмановского района. Колхоз этот, насколько я помню, всегда нуждался в кадрах механизаторов и с жатвой частенько запаздывал.

Тут же, еще в райкоме партии, я узнал, что «Октябрь» идет впереди и давно обогнал своих соперников по соревнованию.

Ясность внес секретарь колхозного парткома Виталий Тихонович Аристов.

— Нынче партийная организация и правление сделали ставку на молодежь, — сказал он. — Раньше мы как-то не доверяли ребятам, все чего-то боялись. Теперь же создали сразу три комсомольско-молодежных звена: два на обмолоте, одно — на косовице. — Аристов усмехнулся. — Представляешь, даже самим поначалу как-то в диковину казалось, да и побаивались порядком. За штурвалы-то поставили вчерашних десятиклассников да демобилизованных ребят. Но выручило шефство. В каждое звено назначили самого лучшего механизатора в качестве наставника. Освобожденного. Дали им на парткоме одно-единственное задание: руководить ребятами, учить их передовым приемам и главное — дать высокую выработку.

Вместе с Аристовым мы побывали в звеньях. В одном из них, к слову, трудился и сын его, выпускник средней школы.

Первым делом попали в звено, которым руководил мастер хлебной нивы орденоносец Иван Иванович Ермолов. Под началом у него было трое ребят. Комбайны подбирали валки пшеницы и шли без остановок.

Ермолов стоял на мостике у Николая Воронцова, что-то говорил ему, показывая рукой на поле. Увидев нас, на ходу спрыгнул, поздоровался.

— Когда мне предложили шефствовать над звеном, я думал — шутят, — рассказывал Иван Иванович. — Я — комбайнер и вдруг не буду сам за штурвалом? Но потом убедили, вот он — секретарь. Оказалось, с

хлопцами интересно даже работать. Верно, хлопот хоть отбавляй, минутки свободной порой не имею, зато радостно видеть, как мои ребятки с каждым днем все увереннее и увереннее прокладывают курс по полям. Недавно говорил с ними, решили 12 тысяч центнеров намолотить, по 4 тысячи на брата.

Я забегу вперед и скажу уж сразу, что в конце жатвы, когда все было подсчитано и смерено, оказалось, что звено Ермолова выдало из бункеров 16 тысяч центнеров зерна. Отличных результатов добились и другие два звена. Колхоз одним из первых в районе завершил уборку хлебов.

Такое, назовем его коллективным или групповым шефством, практикуется и в других хозяйствах края. Это — перспективная ветвь славного движения.

Трудно, да и невозможно, измерить весь эффект шефской и наставнической работы. Однажды я попытался сделать это по совхозу «Чумышский». Вместе с инженером, экономистом и другими специалистами мы не один день считали и пересчитывали, прикидывая так и эдак. Выходило, что за последнее время (мы брали 6—7 лет) выработка у молодых механизаторов выросла более чем в полтора раза. Безусловно, повлияли многие другие факторы, в частности квалифицированная подготовка кадров, но не меньшую

роль сыграли шефство и наставничество. Директор совхоза В. Г. Ботов так сказал:

— Выработка выработкой. Но вот еще что к ней надо добавить. Не только я, но и управляющие, бригадиры заметили, что молодежь больше стала любить землю, с душой на ней работать. А это почти целиком заслуга таких наставников, как Волоколупов, Голиков, Граф и другие наши передовики.

А вот еще один примечательный факт. В Алтайском крае, по сравнению с другими краями и областями, гораздо больше остается выпускников СПТУ работать в колхозах и совхозах. И тут часть заслуги — за наставничеством.

Мы завершаем десятую пятилетку, стоим на пороге одиннадцатой. Дел у советских людей много. И вместе со всем народом на всех участках социалистического строительства трудится молодежь. Именно к ней были обращены слова Леонида Ильича Брежнева, сказанные на XVIII съезде ВЛКСМ:

«Вам предстоит довести до полной победы великое дело, начатое вашими дедами и отцами. Будьте же их достойной сменой, высоко несите знамя коммунизма!»

Это были слова не только Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, а еще и Главного Наставника советской молодежи.

Владислав Козодоев родился в г. Снежном Донецкой области. В 1958 году приехал на целинные земли. Первые стихи опубликовал в газете «Молодежь Алтая». Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт, много лет работал зоотехником. Сейчас корреспондент «Алтайской правды». В 1978 году в Донецке вышла первая книга стихов.



**Владислав КОЗОДОВЕВ**

## А СКОЛЬКО НАМ ДО АВГУСТА ОСТАЛОСЬ...

### ПОБЕГ

Не хочу печали нагонять,  
утешений горьких мне не надо.  
Сяду я на пегого коня,  
выеду тихонько за ограду.

А когда отъеду за село,  
встретит ветер буйный в чистом поле,  
молния крылатая светло  
тучи неуклюжие расколет.

И когда заплещутся ручьи,  
вовсе поворачивать не нужно.  
У меня ни дома, ни семьи,  
у коня — ни стайки, ни конюшни.

Мы от ливня по сырой земле  
под сосну протопаем скорее.  
Поглядим, как заискрится лес,  
как дорога лужами прозреет.

Станет так уютно на душе,  
словно бы и не было печали,  
словно бы бессонными ночами  
мы с тобой не скоримся уже.

Ну чего я!

В жизни все так просто —  
степь и я, и дальняя гроза.  
Эй, Пегаш, давай-ка к счастью версты  
отсчитать попробуем назад.

### МАТЬ

Сев окончился, и сразу  
потеплело на Руси.  
Дождик словно по заказу  
щедро нивы оросил.  
Все же нас природа любит,  
как родных детей своих.  
И когда посевы губит,  
и когда голубит их.  
Насыляет суховеи,  
жжет морозами сполна.  
Очень редко нас жалеет...  
Но не мачеха она.  
Мать!  
И мудрая при этом.  
Так нас хочет воспитать,  
чтобы мы — природы дети,  
были ей во всем под стать.

### В ДОРОГЕ

Весь день трясемся в «газике» с шофером.  
Дорога, как стиральная доска.  
И кажется, за ближним косогором  
прикончит нас дорожная тоска.

От коновязи оторвавшись, время  
сверхзвуковой скоростью грозит.  
Давай сойдем, посмотрим эту землю  
не из окна машины, а вблизи.

Чтоб разглядеть смысл августа получше,  
смысл лебеды пожухлой у межи —  
давай пройдемся по стерне колючей,  
давай в соломе свежей полежим.

И отдадим земле свою усталость  
и зададим вопрос себе такой:  
а сколько нам до августа осталось,  
до созревания полного с тобой?

На поле жизни что же мы оставим,  
когда коса подрубит на корню,  
неужто только пыльную усталость,  
неужто лишь колючую стерню?

### ЗАПОРОЖЦЫ

Ох, уж эта вольница,  
конница лихая.  
До сих пор в ушах моих  
топот не стихает.  
И все чаще кажется —  
чернобровый с краю

это я, товарищи,  
трубку набиваю.  
Затянусь покрепче  
и молчать не стану.  
Шуточку соленую  
отпущу султану.  
Рассмеется войско  
ото всей души,  
так, что даже воздух  
в поле задрожит.  
И товарищ верный  
от избытка чувств  
кулаком пудовым  
грохнет по плечу.  
Я очнусь и вздрогну.  
— Фу ты, черт, — скажу.  
У степной криницы  
я один сижу.  
Надо мною в небе  
серебристый «Ту»  
прочертил вполнеба  
белую черту.  
Отчего, не знаю,  
рассмеюсь легко я  
и плечо поглажу  
влажную рукою.

## РОСТОК

Среди каменных громад,  
в узком тесном закоулке,  
где о выцветший асфальт  
капли с крыш стучали гулко,  
человек принес земли  
и разбил простую грядку.  
И когда дожди прошли,  
посадил там по порядку  
лук, редиску и щавель,  
пастернак, укроп и редьку...  
Только солнце в эту щель  
опускалось очень редко.  
Потому, скопив тепло  
только к середине лета,  
что посеял он — взошло,  
потянулось робко к свету.  
И все летние деньки  
человек, придя с работы,  
одеял свои ростки  
человеческой заботой.  
Да и сам лицом светлел  
над заботою своею,  
будто запахом полей  
ветерок его овеял.  
Так над каждым лепестком  
наклонялся он влюбленно,  
что казался сам ростком,  
чудом в горд занесенным.

## ОЗИМЬ

А озимке было нелегко.  
Яровым-то что — отколосились.  
Им вставало солнце высоко,  
ливни благодатные кропили.

Даже нынче капельки тепла  
сохранили желтые одонья.  
А озимка только что взошла,  
когда выпал зазимок студеный.

Как зима ее морозом жгла,  
ожеледь рвала упрямо корни.  
Ожила, озимка, ожила,  
потому что верила упрямо,

что придет и для нее весна,  
солнце обогреет и осветит,  
полновесным колосом она,  
зла не помня, на добро ответит.

Ей лежать на праздничном столе  
пышным караваем, сытной сдобой.  
Издавна на матушке-земле  
хлеб озимый ценится особо.

## ДОБРОТА

Бог и вновь хлеба в полях созрели,  
светлый праздник дарит нам земля.  
Нет, душою мы не очерствели,  
черствый хлеб осьмушками дея.

Видно, в нем была такая сила,  
что воды целебнее живой.  
Потому-то издавна Россия  
славится душевной добротой.

Не металлом и не черным ветром,  
а любовью засеваем степь.  
И по вкусу нынче на планете  
очень многим наш советский хлеб.

Потому что с добротой во взоре  
просто и открыто мы живем,  
потому что и чужое горе  
сердцем принимаем, как свое.

●  
Хорошо в деревне по ночам,  
сосны держат небо на плечах.  
Миллионы лет, а может боле,  
так же голубело это поле,  
так же лес таинственно молчал.  
Ничего не изменилось вроде:

те же копны сена в огороде,  
лай собак и ржанье лошадей.  
Только слышно — трактор едет где-то;  
ретранслятор вспыхнул красным светом,  
что поярче тысячи свечей.  
И опять село объято сном.  
Разыгрались снега переливы.  
Синеватой точкой над селом  
спутник пролетел неторопливо.

Уже не видно стада на лугу,  
лес отрешенно замер в ожидании  
большого снега, соболей сияния  
и ветра бормотания в пургу.  
Но тих октябрь. Из белой вышины  
ни журавлей курлыканья, ни снега.  
Россия вновь призывно смотрит в небо,  
как будто на себя со стороны.  
Так миллионы лет ждала она.  
И пусть привыкла ко всему с годами,  
но первый снег, он выпадет неожиданно,  
как ранняя, быть может, седина.  
В глухую ночь на пашню и луга,  
на все, на все он упадет неслышно.  
И поплывут, как парусники, крыши  
к неведомым декабрьским берегам.  
Закружит по степи искристый вихрь.  
И станет на душе моей тревожно,  
когда пойму, что этот снег моложе  
всех бед моих и радостей моих.

## ЗЕМЛЯ

Привязанностью древней  
звала земля меня.  
На тихую деревню  
я город променял.  
Не в коммунальном доме,  
где все переплелось,  
в избушке у знакомых  
как сладко мне спалось.  
Когда уже побудку  
пропел петух давно,  
проснулся я, как будто  
в замедленном кино.  
Замедленно хозяйка  
ходила по избе,  
солидно, но не жарко,  
гудел огонь в трубе.  
Не валко и не шатко  
кот терся у стола,

замедленно лошадка  
вдоль окон проплыла.  
В резиновых сапожках  
по лужам мальчик брел.  
И было так несложно  
все то, что я обрел.  
Но прожив только лето  
со всеми в унисон,  
в замедленности этой  
я понял свой резон.  
Мне говорил с усмешкой  
колхозный «агробог»:  
— Земля не любит спешки  
той, что при ловле блох.  
Поверив изначально  
в величие свое,  
о как мы обижали  
поспешностью еси  
Мы убрали травы,  
а сеяли слова.  
Казалось, были правы...  
Ан нет — земля права.  
Она ведь не железо,  
она как мы, поверь.  
Здесь прежде, чем отрезать,  
не семь — сто раз отмерь.  
Тогда она взлелеет  
и нас и колосок.  
...И озимь долго зреет,  
но вызревает в срок.

Как сошлись у согры два марала.  
Раздувая, как меха, бока.  
Молодую кровью загоралась  
злоба в затуманенных зрачках.

И следили друг за другом в оба.  
Рыли снег копытами.

А мне  
показалось, что совсем не злоба  
их свела в таежной стороне.

Просто плыл густой туман низиной,  
и дымком тянуло от села,  
просто где-то важенька призывно  
все звала кого-то и звала.

Просто потеплело, и крушина  
Снег стряхнула весело с ветвей.  
Вот и захотелось двум мужчинам  
силою помериться своей.





Евгений Геннадьевич Гуцин родился в 1936 году в туркменском городе Керки, но вырос на Алтае. Окончил Казахский пединститут, Высшие литературные курсы в Москве. Автор романа «Правая сторона», повестей «По сходной цене», «Облава», многих рассказов, печатавшихся в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», в альманахе «Алтай».

Евгений ГУЦИН

# БАБЬЕ ПОЛЕ

ПОВЕСТЬ

1

Пугающе ранняя выдалась в Налобихе весна 1976 года. В прошлые весны в эту пору здесь, на высоком обском берегу, снег держался еще по-зимнему синий и хрусткий, бураны переметали дороги, а нынче, как проглянуло с чистого неба высокое и сильное солнце, так больше и не пряталось за тучи, неистово светило и грело с утра до вечера. Снег на полях сплюснулся, и на взгорьях рано зачернели проталины. День ото дня они расплывались, захватывая все большее пространство, и скоро снег (это в последних-то числах марта! И где? В Сибири!) сошел совсем. Его жалкие ноздреватые остатки лежали еще по логам да в березовых колках, медленно истаявая. Странно и чужеродно выглядели эти сизые пятна на тяжелой, набухшей весенними силами земле.

Глухо ворочалась под крутым берегом Обь, зияя полыньями, бухая и поскрипывая льдом, — тоже пробовала свою силу. И вдруг на две с лишним недели раньше привычных сроков река тронулась. Льдины, крошась и истончаясь, плыли извечным путем в Ледовитый океан. Провожая их с крутояра, люди увидели, что исчезла дымка, висевшая над

деревней, мир вроде как раздвинулся во все стороны, стал шире, обозримее. Огромный мир лежал во всех четырех сторонах от Налобихи, и теперь, когда весенний свет хлынул во все дальние дали, высветил и приблизил, особенно остро почувствовалось, как он велик и как мала деревенька, песчинкой в нем затерявшаяся.

С высокого обрывистого берега, на котором ютилась открытая всем ветрам Налобиха, было видно, как далеко-далеко расстелилась на другой стороне Оби великая тайга, за горизонтом в бледной размытой синеве терялись ее края, недоступные глазу. Когда-то много красного зверя водилось в урманах, но в последние годы тайгу густо заселили леспрохозы, и бывшие охотники обучились валить оскудевший лес бензопилами. Налобихинцев это не очень затронуло: охотничьим промыслом они всерьез не занимались.

Вверх по реке, в семидесяти километрах, стоял краевой центр, дымный рабочий город. За расстоянием город с крутояра не просматривался, но химический комбинат и другие заводы давали о себе знать. Иногда Обь приносила молочно-белые струи, а то наоборот — дегтярно-черные или же зеленые, словно молодая травка. Цветные струи текли сами по себе, не смешиваясь — река противилась, не принимала их. Благородная рыба извелась, спустилась далеко в низовья, и рыбацкие артели, некогда густо лепившиеся по берегам ниже Налобихи, захирели. Рыбаки подались кто куда, и берега задичали.

Впрочем, Налобиха особо не занималась и рыбалкой, она испокон жила хлебопашеством. И если повернуться к тайге и реке спиной, то за деревней, на всхолмленной равнине можно увидеть пустующие пока пшеничные поля. А далее, за полями, за березовыми колками, сереющими в дрожащем воздухе застывшим дымом, располагался райцентр — село Раздольное, маленькая местная столица.

Столь ранняя весна озадачила налобихинцев. Не избалованы они были такими подарками природы и не доверяли им. Нормальное течение сезонов приносило обычно неплохие урожаи хлебов, а теперь гадай, чем это обернется, добром или худом.

В природе и на самом деле происходило непонятное. Жаркое солнце быстро прогрело землю. До поздних вечеров курилась волнистая дымка над полями — уходила влага. Председатель налобихинского колхоза «Сибирская новь» Николай Николаевич Постников мучался сомнениями. Как быть: начинать бороться да сеять или дожидаться привычных сроков? Почва созрела, в самый бы раз выго-

нять машины на поля, но может статься, что посеешь, семена проклюнутся, а отзимок придет и побьет всходы. И семена загубить боязно, и ждать уж больше нельзя — на глазах земля сушеет. Не успеешь оглянуться, ветры пыль погонят. Вот и думай, в какую сторону склониться.

Постников был нездешний, из предгорий края. Прислали его сюда три года назад сменить первого председателя Кузьму Ивановича Горева. И хотя Постников считался тут человеком новым, но мужик он был пожилой, дошлый и в председателях не впервые. А еще — рискованный и с богатой фантазией. Предгорный худосочный колхозник, откуда его сюда перебросили, никак из долгов не мог выбраться. Избы у колхозников старые, как говорится, на ладан дышат. Клуб в аварийном состоянии, того и гляди крыша рухнет. Во время киносеансов люди старались поближе к дверям сесть, чтобы успеть выскочить в случае чего. Надо бы и квартиры для механизаторов построить, и новый клуб позарез нужен, да не разбежишься — пуста колхозная касса. А полной ей быть не от чего. Местная землица, с песком и галькой, никак не хотела рожать пшеницу. Скот тоже доходов не давал — с кормами в предгорье было туго. И словно в укор самолюбивому Постникову стоял неподалеку, в низине, богатый колхоз. Клуб у соседей как дворец, правление — каменное, двухэтажное и новые дома — ровными рядами. И все строятся, строятся. Крепкий колхоз, вот люди и оседают. Не то что у него, у Постникова. Его колхозники с завистью на соседей поглядывали. Помани пальцем — убегут. Да что колхозники! Сам Постников завидовал соседу-председателю. И земля-то у того — чернозем, и работать есть кому, и ездит на черной «Волге», а не на обшарпанном «газике». А уж до чего важно держался богатый председатель! На районном совещании позволял себе бросать реплики во время выступлений, и его не одергивали, будто так и надо. Ну а попробуй высунуться Постников — сразу поставят на место. Тебе мол лучше сидеть да помалкивать и радоваться, если в докладе лишний раз не помянули.

Как хотелось Постникову выбиться из нужды! Ужом крутился, ища ходы и выходы. Землица с галькой? Так и из этого можно извлечь выгоду. Открыл гравийный карьер, предложил соседу щебня на строительство, на мощение дорог. Тот не отказался, и Постников рад: все лишние деньги для колхоза. Провернул удачную, ловкую, можно сказать, операцию с мясом. Раздобыл в районе спортивные лицензии на отстрел лосей, сколотил

бригаду и благословил на промысел. Охотнички постарались, не подвели своего председателя. Постников потом уговорил колхозников сдать личных бычков по закупочным ценам. За счет них удалось и план по госпоставкам выполнить. А взамен едотчикам выдал дешевой лосятинны. Прокормились лесным зверем.

Прогорел Постников на обыкновенном хрене. Один деятель из потребсоюза присоветовал: ты-де попробуй-ка развести хрен. В городе тертые корешки в баночках — нарасхват. Платим мы хорошо, так что дело верное. Постников и ухватился за идею. На опытном поле буйно зазеленела новая для хозяйства культура. Не обманул заготовитель. Хрен принес колхозу хорошие деньги, но они не радовали, потому что зерновые, как на грех, не уродились. Пшеничка на полях стояла низкорослая и реденькая, зато хрен вымахал до невероятных размеров, хоть показывай экскурсантам. Вот тут-то и началось. Пошли по району усмешки да ухмылки, дескать, Постников — знатный хреновод и так далее. И даже на активе начальник райсельхозуправления, отчитывая Постникова под смех всего зала, употреблял весьма рискованные прилагательные, образованные от названия злополучной огородной культуры. Вскоре Постников оказался в Налобихе, а новый после Постникова председатель еще долго боролся с хреном, который никак не желал искореняться с полюбившегося ему поля.

Обо всем этом Постников помнил и боялся ошибиться. Помаевшись сомнениями, поехал в Раздольное, в райком — посоветоваться насчет сроков сева. Надеялся, что там, как в былые времена, скажут, как быть, в общем сориентируют. Однако его ни в какую сторону не сориентировали, а посоветовали решить вопрос на месте. На месте так на месте. Определимся сами. Но как бы маленько подстраховаться? Выписал агроному десять килограммов говядины и послал в краевую метеостанцию за прогнозом. Наказал: отдашь им мясо без денег, но пусть все сделают по уму.

Метеорологи прогноз агроному дали, а от мяса отказались наотрез. И, видимо, не зря. Потому что как над прогнозом ни бились в правлении, ничего уразуметь не могли. Не простачками оказались и синоптики. Они составили бумагу умную, в которой поминались циклоны и антициклоны, а также холодные и теплые течения, борющиеся в мировом воздушном океане, но будет ли в Налобихе отзимок или нет — о том сказать удержались.

И тогда Постникову стало ясно, что под-



ка хоть на год постарше, так еще в прошлом году взяла бы ее к себе. Все-таки мать больше внимания дочери уделит, чем чужие люди, что там говорить. Только бы поняла Юлька материну правоту, послушалась ее совета. А то когда на днях поделилась с дочерью сокровенными мыслями, та насмешливо хмыкнула и, как бы ища защиты, поглядела на отца. Степан сразу перехватил дочерин взгляд, словно его дожидался, сказал хмуро:

«Хватит с нас и одной трактористки. Как-нибудь обойдемся».

Евдокию не столько обидели слова мужа, к его недовольству она привыкла, сколько больно резанула насмешка дочери и то, что она, будто на сообщника, глянула на отца. Больно и обидно стало, но Евдокия не дала прорваться раздражению, чтобы окончательно не испортить разговор.

«А что, интересно, ты ей предлагаешь? — спросила она чужим, надтреснутым голосом. — Чтобы поскорее с глаз долой уехала? В город на хлопчатобумажный комбинат? Не терпится выпроводить? Папаша называется...»

«Выпроводить? С чего ты взяла?» — мрачно удивился Степан.

«А с того! — жестко перебила Евдокия. — Ты бы подумал своей головой, где она еще устроится? Воспитательницей в детский садик? Там и без нее воспитательниц полно. Девки потому и бегут в город, что деваться некуда. А механизатором — все же и профессия серьезная, и сама при доме останется. Не в городе за глазами».

Степан поморщился и отвернулся. Возразить, как понимала Евдокия, ему было просто нечем. Только и оставалось — отвернуться. Я мол при своем мнении, а там как хочешь. Короче, не получилось у нее разговора ни с дочерью, ни с мужем. Если бы хоть одну Юльку уговаривать, а то сразу двоих.

Остановившимся в одной точке взглядом Евдокия следила, как плыла навстречу, покачиваясь, прошлогодняя стерня, и мысленно спорила со Степаном, негодовала. Ведь понимает же он, что жена права, ведь ни одного вразумительного слова не мог сказать против, а упрямится. Лишь бы только обозлить жену, сделать ей наперекор. Если бы Юлька пошла в звено, все бы у нее там сложилось капитально. Она — дочь знаменитой трактористки Тырышкиной, с этим нельзя не считаться. Материнская знаменитость как наследство досталась бы ей. Вниманием бы Юлька нигде не обошла. Молодая Тырышкина пошла по стопам матери. Это же красиво звучит! Династия и прочее! Вдобавок ко все-

му Юлька — девка красивая, а красота много значит. Корреспонденты стараются на красивых целить свои аппараты. Портреты бы в газетах не переводились. Как этого не понять? Ну, Юлька еще не соображает в таких вещах, умишко у нее детский. А он-то, пожилой мужик, должен бы ума накопить...

Досадливо вздохнула и обернулась.

Сзади, с левого бока, точно привязанные невидимыми тросами, шли тракторы ее звена, вздымая за собой легкие облачки пыли. Следом за Евдокией была, конечно же, неизменная Нинша Колобихина, подруга давняя, закадычная. Нинша всегда за спиной. Это ее место — за подругой, и она уступила бы его одной лишь Юльке, больше никому. В любое время оглянись — она рядом, крикливая, заполошная Нинша, добрая, близкая душа. Так тепло и спокойно от ее соседства.

За Ниншей движется Галка, совсем еще девчонка, года нет как на тракторе, тихая, стеснительная. Но есть в ней какая-то особенная сила. Тяжело не тяжело, никогда не пожалуется. Молчит да тянет свою лямку. Старательная.

Позади Галки на оранжевом новом «Алтае» — красивая и злая Валентина, баба молодая, разведенная. Может, оттого, что с мужем не ужилась (он уехал от нее в город и там женился), по другим ли еще причинам, но она озлилась на весь белый свет. У нее и красота была какая-то недобрая, холодная. Говорит, а тонкие губы брезгливо подергиваются. Всегда в ней что-то настораживало Евдокию. Она чувствовала к себе глухую неприязнь со стороны Валентины и старалась не обращаться к ней лишней раз. А уж когда никак ее не обойти, то и слова подбирала помягче, и разговаривала с Валентиной осторожнее, не как с другими. Она и тот новый сильный трактор, совсем недавно полученный, отдала отчего-то именно ей, а не Нинше и не Галке. Будто кто-то нашептывал ей на ухо: отдай Валентине, так будет лучше. Может, просто хочется жить поспокойнее, и своими уступками Евдокия интуитивно оберегала себя?

За замыкающим, пятым трактором летели белые речные чайки, покинувшие оскудевшую Обь. Косо падая на крыло, они хватали червей с прикатанной после сеялок земли и взмывали вверх, посверкивая оперением. В этой последней машине сидел Степан, муж Евдокии, единственный в женском звене мужик, тракторист-наладчик. Даже сквозь растояние, сквозь горящее под солнцем лобовое стекло внутренним зрением видел хмурое, отчужденное, небритое лицо мужа. Таким оно было всегда в последнее время, таким отло-

жилось в памяти, и другим представить уже не могла. словно за такого и замуж вышла много лет назад, за чужого и колючего.

Евдокии вспомнились прошлые весны, когда кровь еще бродила в ней от весеннего обновления, и горько усмехнулась над собой. Какие уж могут быть надежды в ее-то сорок девять? Жизнь, можно сказать, прожита, катятся ее годы по знаменитой загонке к своему концу, и никуда ей не свернуть, ни в какую сторону, и никакого обновления ей не будет. Пускай радости идут к молодым бабам, им они нужнее, она же свое отработала и отгоревала, с нее достаточно. Конечно, случались у нее и тяжелые дни, как у каждого человека. А разве мало было хорошего, что греет до сих пор? Были радости, были всякие: и личные, женские, и общественные. Правда, личные как-то незаметно угасли в ней, остались лишь общественные. Конечно, широкая известность в крае приятна и даже необходима. Евдокия привыкла, что и на своем колхозном собрании, и на разных совещаниях и слетах передовиков в городе она всегда сидит в президиуме. Портреты и хвалебные статьи в газетах тешат самолюбие, чувствуешь свою значимость. Но это однобокие радости, как тепло зимнего костра. Но у костра-то можно повернуться и другой бок погреть, а здесь не повернешься, и уж коли тянет холодком со спины, то и будет тянуть, примораживать. Так уж случилось: давно в разладе она с мужем. Одно у нее утешение и радость осталось — дочь. До Юльки дважды рождались дети, тоже девочки, но не доживали и до месяца. Ох, как боялись Евдокия со Степаном, что останутся одни! Как надеялись и ждали сына или дочь — все равно кого. А когда уж перестали надеяться, появилась наконец Юлька, долгожданный, поздний, а потому особенно любимый ребенок. Берегла ее Евдокия пуше глаза, все-то годы переживала за дочь, ночей не спала, когда Юлька болела. А теперь вот Юлька выросла и на отца чаще поглядывает, на его стороне стоит, больно ранит материнское сердце. Эх, Юлька...

Невеселые мысли оборвал председательский «газик», неожиданно вывернувшийся откуда-то сбоку. Постников приехал не один, с партгором Ледневым, молодым еще совсем мужиком. Постников невысокий, в распахнутом рыжеватом плаще, который не сходил с него на животе, весь из себя крепкий, как говорят, самовитый. Он и ноги широко расставил, прочно, по-хозяйски утвердил их на земле и по-хозяйски же оглядывал все, что его тут окружало. Леднев — наоборот, высокий и худой, в синей куртке с блестящими кнопка-

ми и замками, какие носили почти все парни в Налобихе. Перед плотной фигурой председателя он парнем и казался, не нажил еще солидности.

Дождаясь, пока останятся тракторы и подойдут люди, Постников стал показывать Ледневу рукой на взгорье, в чем-то с горячностью убеждая его. Досада была на его круглом подвижном лице, потому что парторг не соглашался с ним, ссутулившись в своей молодежной курточке, упрямо метал головой. Потом председатель отвернулся от парторга, засунул руки в карманы плаща, глядел на приближающуюся Тырышкину. Выжидательно улыбался.

— Ну как, Евдокия Никитична, не прогорим? Раньше всех в районе начали! — зычно проговорил он, чтобы все женщины услышали и как-то отозвались. Вопрос этот его сильно мучил, и ему хотелось какого ни есть, а утешения.

— Погода покажет, Николай Николаич, — уклончиво ответила Евдокия. Последний свой урожай ей хотелось взять побогаче, и она тоже побаивалась. Даже словом опасалась сглазить погоду.

Трактористки поздоровались и замолчали. Ниша Колобихина прислонилась к подруге, но в разговор не встревала. Пусть председатель и звеньевая потолкуют между собой. Красивая Валентина поправила шелковую цветастую косынку и, презрительно сузив длинные, подкрашенные глаза, смотрела поверх голов председателя и парторга в одну ей ведомую даль. Привычная ее поза. Галка смущенно потупилась. Из нее слова не вытянешь. Степан же стоял позади всех, на отшибе. Лицо отстраненное, будто к разговору никакого касательства не имеет.

— Это точно. Она покажет, — согласился Постников унылым голосом и тяжело вздохнул. — Нам бы отсеяться побыстрее. В теплой земле с семенами ничего не случится. А там уж или прогорим, или районную премию отхватим... — Испытующе оглядел невинное, без единого облачка небо и снова обернулся к звеньевой. — Ты вот что, Евдокия Никитична... поднажать бы, пока ведро стоит. До дождей бы управиться, а? Тракторы у вас светом оборудованы. — Хитровато и заискивающе улыбнулся. — Поняла намек? — Давай сменщиков. Организуем вторую смену.

Постников невесело хохотнул.

— Сменщиков... Рожу я их, что ли?

— А это уж твое дело, где их взять. Ты — председатель. Хоть роди, — сдержанно улыбнулась Евдокия.

Председатель развел руками.

— Да я бы рад родить—не получается. Нету сменщиков, Никитична, нету. Семьдесят тракторов в хозяйстве. Это надо сто сорок механизаторов, если на две смены. А мы на одно-то едва наскребаем. Старшеклассников придется на сеялки сажать, отрывать от школы. — Укоризненно покачал головой. — Председатель... Ты сама член правления, обстановку не хуже меня знаешь. Тракторы и прицепной инвентарь мы купить можем, а людей в Сельхозтехнике не купишь. Не продают их. Вот так-то... — С надеждой поглядел на Евдокию, на других женщин, на молча попыхвающего папироской Степана. — Придется вам, видно, выручать колхоз. Если останемся без хлеба, все вместе горевать будем, не я один. А постараемся — здорово выгадаем. Погода пока за нас. Но положение рискованное...

— Значит, мы должны в две смены надрываться? — громко заговорила Нинша Колобихина. — Рискованное положение... Да оно у нас сроду рискованное. Сроду как кони за всех отдуваемся!

— Ну, тебе бы только пошуметь, Колобихина, — устало сказал Постников. — Поругаться бы лишней раз.

— Дак как не ругаться-то? Нас заставляют мантулить в две смены, да еще и слова не скажи!

Постников вдруг подозрительно прищурился.

— Постой, а чего это ты за всех отвечаешь? — негромко, с особой значительностью в голосе спросил он. — За весь коллектив? Может, уже не Тырышкина, а ты звеньевая? Или тебя товарищи уполномочили выступить? Ты за что агитируешь?

Нинша прикусила язык, растерянно заозиралась на подруг. А Постников выждал немного и продолжил уже другим, мирным голосом, мягким и укоризненным:

— С чего ты взяла, Колобихина, будто тебя заставляют? Не хочешь помочь колхозу в трудное время — не надо. Неволить не станем. Другие найдутся, более сознательные. Но мы это запомним... Я никого не заставляю, я только прошу помочь. Мало для тебя колхоз сделал? Хоть раз в чем-нибудь был отказ? Чтоб ты могла обижаться? — Поглядел на потупившуюся Галку, на равнодушную Валентину, на Степана. — Уж кому-кому, а вашему звену все даем в первую очередь. Можно сказать, в ущерб другим.

— Да я разве говорю, что отказываете? — смущенно оправдывалась Колобихина, но Постников ее перебил:

— Ты ведь даже и не выслушала меня до конца, а сразу в крик. Несерьезно... Мы с партгором уже все звенья объехали, и никто

нигде не скандалил. Люди проявили сознательность. Надо — значит надо. Брагины так те прямо сегодня во вторую смену останутся. Глядите, обгонят вас мужики. — Трактористки соревновались со звеном Брагиных, и председатель бил на самолюбие. — И еще скажу... Другим я ничего не сулил, а вам обещаю: отсеемся — выделим крытую машину. В город вас на базар свозим. А по осени — комбикорма в первую очередь. Вот партгор свидетель.

— Ты не покупай нас, Николай Николаич, — поморщилась Евдокия. — Прикинем, что к чему, и решим.

— Прикиньте, немного успокоился председатель, уловив надежду в словах звеньевой. — А насчет сменщиков, в смысле механизаторов вообще, надо помозговать вместе. Девчат бы на это дело нацелить, а, Никитична?

— Каких девчат?

— Которые пока без дела сидят. И которые школу в этом году заканчивают. Надоело, понимаешь, кадры для хлопчатобумажного комбината выращивать.

— А почему только девчат? — раздраженно спросила красивая Валентина, по-прежнему косясь в сторону. Евдокия даже не взглянула на нее, будто не слышала, а Постников повернулся к Валентине.

— Парни в трактористы идут неохотно. На шоферов, баранку крутить — отбоя нет. Но у нас же не автобаза. Нам механизаторы нужны. Широкого профиля. А девчата, которые захотят после школы остаться в Налобихе, согласятся. Им либо в доярки, либо в механизаторы, больше деваться некуда. Да и должен же кто-то землю пахать, хлеб растить. А то вот Тырышкина осенью уйдет, из других звеньев выйдут на пенсию. Ветераны-то наши. А кто их заменит? Об этом сейчас думать надо.

— Это верно, — проговорила Евдокия с грустью.

— Агитировать девчат. Другого выхода нету, — продолжил Постников. — Давай, Евдокия Никитична, вот с севом закруглимся, соберем молодежь в клубе. С танцами, с буфетом. Дефицит какой-нибудь выбросим — трикотаж, парфюмерию. Ты и выступи перед ними. Наберутся добровольцы — курсы механизаторов откроем. Создадим женские звенья и полегче вздохнем...

Постников замолчал и, повернувшись к трактористкам боком, смотрел туда, куда недавно показывал Ледневу рукой. Очень его та сторона интересовала, даже прищурился и губу покусывал. Там, куда он неотрывно глядел, лежало на взгорье который год уже не-

паханное, заброшенное людьми Мертвое поле.

Это взгорье Евдокия хорошо знала и помнила еще не мертвым, а благодатным и родящим. До войны там сеяли пшеницу, в войну, да и после, в шестидесятых годах, бывали хорошие по здешним местам урожаи. На взгорье хоть и не намного, на какую-то сотню метров, но почва лежала к солнышку ближе, и хлеба поспевали на неделю раньше, чем везде. Именно оттуда, с самой верхотуры, обычно и начинал колхоз жатву. Туда первыми поднимались старенькие прицепные комбайны «Коммунары», жали на плоской вершине, кругами сходили по пологим склонам вниз, на равнинные земли Бабьего поля. И, наверное, по сию бы пору рожало хлеб это поле, потому что председатель Горев давал ему отдыхать, раз в три года засевая травами, да приехала из Раздольного районная комиссия, спросила Горева, отчего это он не каждый год получает зерно с высокого поля. Горев ответил, что наверху плодородный слой очень тонкий, под ним — песок, и поэтому он дает земле отдых. И тогда Горева сказали, что земля — не лошадь, она устать не может, и нечего зря разбазаривать ценные посевные площади под никому не нужные травы. На госпоставки, как известно, травы не идут, из них хлеба не испечешь. Стране нужен хлеб и даже очень. Горев спорил и доказывал, что земля хотя и верно — не лошадь, но она живая и, как все живое, нуждается в отдыхе. Если, дескать, каждый год там сеять пшеницу, то она будет вытягивать одни и те же соки, и земля истощает. Травы же берут другие соки, и что травы дают почве силу и крепость. Возражения Горева называли неграмотными и даже вредными, укорили его, что он не читает газет, и велели травы больше не высевать. Ослушаться Горев не мог, стал делать, как велели, и поле истощилось. В это время шумело движение за расширение посевных площадей, и Горева приказали распахать все земли, которые до этого числились залежными и целинными. Земли распахали, и сначала урожаи пошли хорошие, даже невиданные прежде, но скоро с юга налетели черные ветры, тоже до этого здесь невиданные. Ветры сорвали, как сбрили, со взгорья родящий слой почвы, унесли его за Обь. В те годы пострадало много земель, но возвышенным досталось больше всех. Взгорье стало бесплодным, и его, с благословенья района, вычеркнули из посевных площадей, списали, словно оно перестало существовать на свете. Но взгорье все-таки существовало. Несколько лет оно стояло голым, курясь под ветром пес-

чаными змейками, а теперь кое-где поросло сероватой пустынной колючей травкой, принесенной ветрами невесть откуда. Туда, на Мертвое поле, и глядел сейчас Постников. Тревожно стало Евдокии от его упорного взгляда.

— А что, товарищи, не рискнуть ли нам? До кучи? — проговорил вдруг Постников отчаянно-легким голосом, и все поняли, о чем он сказал. — Земля, можно сказать, бесхозная, плана на нее нет. Даст центнеров хотя бы по пять, и за то спасибо. Все добавка к общему урожаю. А, как?

Леднев упрямо мотнул кудлатой головой:

— Ни в коем разе. Я же объяснял.

— А мы бы туда перегною подвезли, удобрений, а?

— Удобрений подвезти можно. И перегною тоже. Чтобы гумус поскорее образовался. А пахать — нельзя.

— Зря трусишь, парторг, — с сожалением сказал Постников, глядя не на Леднева, а на Евдокию. Он и говорил для нее, втайне ожидая поддержки. — А то мы бы это поле вспахали и засеяли. И приплюсовали бы к Бабьему. Урожай бы на звено записали.

Евдокия горько усмехнулась:

— Кого мы обманем? Сами себя обманем, больше никого. Давай-ка, Николай Николаевич, забудем этот разговор. Будто его не было. А то и наши внуки не увидят хлеба с этого поля. Порисковали в свое время и будет. Не в карты играем.

Постников ничего не ответил, постоял еще немного, закусив губу, глядя в сторону, потом зашагал к машине, не дожидаясь парторга. Втиснулся в кабину на переднее сиденье, но дверцу за собой не захлопнул. Понимал: от конца разговора у всех осталось тягостное впечатление, и так уезжать нельзя. С трактористками надо расстаться легко, весело, чтобы и работалось им веселее. Надо обязательно пошутить, сгладить нехороший осадок. Торопливо обдумывал: что бы им такое сказать? И тут взгляд его упал на Степана. Будто нарочно он тут стоял.

Крикнул с задором:

— Наладчика-то не обижаете? Вон ведь вы какие языкастые!

— Он у нас смиренный, объезженный! — громко отозвалась Валентина и принужденно рассмеялась.

В ее словах и голосе Евдокия уловила тайную издевку. Недобро покосилась на Валентину. Тебе-то какое дело, язва? Просили тебя высказаться. Своего надо было объездить, не сбежал бы... Не будь рядом Леднева, ох и отчитала бы эту Вальку. Отчихвостила бы по всем правилам, не знала бы куда

деться. Но перед ним — неловко. Молодой еще такие вещи слушать.

И без того у Евдокии было сумрачное настроение, а сейчас совсем испортилось. Однако она не выдавала себя, только чуть побледнела и убрала руки за спину, чтобы не видели, как они у нее тряслись.

Леднев виновато заглянул ей в глаза, как бы винясь за председателя, за Валентину и за себя. Опустил голову и пошел к машине, где Постников нетерпеливо ерзал на своем сиденье.

Когда машина укатила с поля, Евдокия еще некоторое время молчала, собираясь с мыслями. Знала: трактористки ждали, что скажет им звеньевая, а у нее все в голове перепуталось. Надо бы подбодрить Ниншу и Галку, дух поднять, вон какие они кислые. Но как дух поднимешь, если у самой на душе нехорошо? Не передалось бы им ее настроение. Тяжело не тяжело, а надо все-таки встряхнуться и встряхнуть остальных.

— Давайте посоветуемся, — заговорила она негромко, как бы прислушиваясь к своему голосу, — сможем, нет осилить вторую смену? — И посмотрела первой на Галку. Девчонка что-то уж очень бледная, вялая. Неловко привалившись к гусенице своего трактора, слушала звеньевую задумчиво. Смущалась под изучающим взглядом. — Галина, ты как, сможешь? — мягко спросила Евдокия.

— Наверно, смогу, тетя Дусь. Раз надо...

— Нинша, а ты? — перевела глаза на подругу.

Колобихина горестно сморщилась и вздохнула:

— Куда деваться? Как все, так и я.

Очередь была за Валентиной, но та мечтательно шурилась в солнечную даль, в упор звеньевую не замечала. Вся яркая, призывная, не хочешь, да посмотришь на нее. Шелковая косынка на ее голове трепетала под ветром, переливалась всеми цветами. Светлая прядка волос кокетливо струилась по лбу. Из-под телогрейки высунулся воротничок модной кофточки. И, главное, губы аккуратно подкрашены. И под глазами наведена томная синева. Не может на тракторе без помады и теней.

Евдокия подняла на нее глаза.

— Ну, а ты, красавица, что скажешь? — Не утерпела-таки, выдала свою злость. Мстительно нажала на слово «красавица». А Валентина даже не шелохнулась. Стояла как на картинке, любуйтесь ею.

— Что ж, молчанье — знак согласия, — сказала Евдокия с усмешкой. — Будем считать «за». Теперь, бабы, давайте подумаем,

как нам смены построить. Предлагаю таким образом... Работаем с шести утра и до обеда. Потом — домой, отдыхать. В пять вечера начинаем снова и — до двенадцати ночи. Устраивает распорядок? Выдюжим?

Колобихина пригорюнилась:

— Да как выдюжить-то выдюжим. Это бы ничего. Володька меня дома сожрет. Живьем, паразит, сожрет.

— Объясни ему, что это — всего неделю, ну полторы.

— Ты будто моего мужика не знаешь. Попробуй, объясни ему. Он из мастерских пришел — корми его, пой. Миску шей себе сам не нальет. Ждет, когда жена нальет. Да опять же за ребятами углядеть надо. Будут порскать целыми днями по улицам. И некому их загнать уроки делать.

— Ничего, пускай муж похозяйничает. Невелик барин. И еду поварит, и за ребятами приглядит.

— А корову кто подоит?

— Володька и подоит. А то они это за работу не считают. Покрутится — поймет, как ково нам достается.

— Много они понимают...

— Поговори по-хорошему. А нет — пригрози: в правление мол вызовем, там образумим.

— Он потом меня образует, дьявол ружастый.

— А ты и испугалась! — засмеялась Евдокия. — Вроде не из пугливых была. Не трусь, в обиду не дадим... Значит, решили, — подвела итог Евдокия и махнула рукой Степану, чтобы подошел поближе. — Степан, все слышал?

Неопределенно пожал плечами.

— Как поедем отдыхать, останься, проверь фары и прочее. Заправка и ремонт — все на тебе. Учти! — Сказала голосом ровным, глуховатым, но со строгостью. — Заранее подвези чего надо.

Степан передернул плечами, заметил в никуда:

— У нас один новый-то трактор. Остальные — старые. Ломаться часто будут. Две смены — нагрузка большая.

— А ты отремонтируй! На то и наладчик при нас! — Это она проговорила с напускной веселой строгостью и подмигнула Нинше. Вот, дескать, как с вами надо.

Перевела глаза на Галку, на Валентину. Отмякла уже маленько. И вдруг отчаянно взмахнула рукой, будто сбрасывая разом всю тяжесть душевную, оставшуюся еще в ней, и улыбнулась тоже — отчаянно, молодо:

— Не тушуйся, бабы! Перетопчемся как-нибудь! Где наша не пропадала! Надо же вы-



ручать колхоз! Кто ж его еще выручит, как не мы? Поехали, бабы, а то солнышко-то вон уж где!

Влезла в кабину, уютилась поудобнее на жестком сиденье, положила руку на рычаг газа и стала ждать, когда задние машины готовно взревет моторами, сотрясая звонкое небо над Бабьим полем, напрягутся в рывке, и тогда, угадав мгновение, она первая тронет с места свой трактор.

«Ломаться часто будут...» — вертелись в голове единственные за весь день слова Степана. С раздражением подумала, что слишком уж мужики к технике повернуты. Тракторы он пожалел. А то, что на этих тракторах живые бабы сидят, не из железа — из плоти и крови, и тоже могут сломаться, — Степану и в голову не стукнуло. Да только ли Степану!

Евдокия вдруг усмехнулась над собой. Разжалобилась. Жалобные мысли сейчас только помешают, расслабят. Чего сердце попусту надрывать? Работать надо.

Позади мощно взревели моторы, рев их слился с треском двигателя ее трактора в единый всеобъемлющий грохот, от него дрожали, казалось, не только небо, но и сама земля, и все на свете. С оживших рычагов до руках электрическим током вливались в самую душу надсадное дрожание и звенящий гул, от них некуда деться в тесной железной кабине, туго набитой железными голосами. Казалось, само сердце прыгало в грудной клетке, не находило себе места. Но Евдокия опытно знала: так всегда бывает в первые минуты, а потом словно и в ней самой тоже включится что-то железное — терпение, привычка или прибереженные для такого случая силы, но только она уже не станет так болезненно корчиться от тряски и изматывающего грохота — приспособится. И сердце, успокоившись, найдет свое место.

3

С поля Евдокия уходила обычно со Степаном, и в попутчики никто к ним не пристраивался, даже Нинша. Стеснялись, мало ли о чем хотят поговорить муж с женой. Пусть идут сами по себе, у них свои интересы, семейные, не надо им мешать. А никто и не знал, что всю дорогу, от поля до дома, Евдокия со Степаном молчат. И только со стороны кажется, что идут вместе. На самом же деле — отдельно друг от друга, не затрагивая один другого ни словом, ни взглядом. Их руки даже случайно не коснутся. Он молчит, и она молчит, будто между ними наперед давно все сказано и в запасе ничего не оста-

лось. Даже заранее знали, что скажет один и как ответит другой.

Но сейчас Степан оставался на поле. Ему надо заправить тракторы, проверить освещение. Дело это не минутное, тут за час не управиться, и Евдокия его, наверное, дожидаться не будет. Поэтому Колобихина вопросительно покосилась на подругу, дескать, может, вместе пойдем?

Евдокия поняла ее и отрицательно помотала головой:

— Ты иди, Нинша, иди. Я еще тут побуду.

Сломила у обочины полевой дороги несколько кустиков прошлогодней полыни, сложила веничек, вымела им скопившуюся в кабине пыль. Много ее тут за день-то накопилось. Не кабина — пылесос. Влажной тряпкой протерла рычаги, щиток приборов, сиденье и спинку, лобовое стекло изнутри и снаружи, фары. Все приятнее будет вечером начинать работу. Неторопливо вымыла руки, долго вытирала их ветошью — тянула время. Потом, когда уже никого близко не было, приблизилась к мужу и, став сбоку, наблюдала, как он качал ручку насоса на прицепе-заправщике. По привычке подошла. Не могла с легкой душой отправиться домой, минуя его. Ведь не совсем еще чужие, неловко.

Стояла и ждала: скажет ли ей Степан что-нибудь, не отзовется ли хоть взглядом на ее появление? Но тот слишком уж был занят своим делом. Лица к жене не повернул, будто ее тут вовсе не было. И Евдокия не обиделась, а лишь легонько вздохнула и медленно двинулась прочь. Она свое сделала, подошла к нему, а то, что он не обратил на нее внимания, — дело его.

Однако, отойдя немного, все же оглянулась: не смотрит ли Степан ей вслед? Нет, не смотрит. Не показное это у него отчуждение, не старается своим равнодушием досадить жене. Видно, на самом деле далеко они отошли друг от друга. Так далеко, что дальше некуда.

Евдокия шла тихо, чувствуя гуденье в расслабленном теле и безвольно опустив тяжелые руки. Похоже, сил у нее оставалось ровно столько, чтобы добраться до дому и лечь, забыться. Но предвидела: дома в ней найдутся еще какие-то силишки, она сразу не ляжет, а посидит еще с дочерью. Подумала так, и самой удивительно стало: откуда только берутся в ней эти силы, из каких глубин? И много ли их еще осталось? На весь-то сев хватит? Когда Постников заговорил о двух сменах, у нее и в мыслях не было отказать. От скорого ответа уклонилась — надо посоветоваться с женщинами, настроить их, уговорить, если надо. Никогда ни от ка-

кой работы Евдокия не отнекивалась. Раз надо, кровь из носу, а сделай. Так уж было у нее заведено. Она и себя в работе не пожалеет, и другим спуску не даст. Ну, за Ниншу Евдокия спокойна. Нинша — как ломовая лошадь, эта вывезет. Валентина — та хоть и изозлится вся, а тоже не отстанет. Злость и гордость отстать не позволят. Выдержала бы Галка, что-то бледенькая она ей показалась. Под глазами синева. Накрашено, нет ли, разве их поймешь? Ну да ничего, девка молодая, выдюжит. В ее годы Евдокия похлеще вкалывала, живой огонь — и только... Тут еще уговаривают, упрашивают. А раньше не очень-то уговаривали. Надо — и весь сказ. Да и сами понимали, что такое — «надо». Сознания побольше имели, чем нынешние. Некогда было губы красить...

Пока Евдокия шла полем, поле удерживало ее заботы на себе. В уме она взвешивала прожитый день и заглядывала в завтрашний, будто на ощупь его пробовала: каким-то он окажется? Но сейчас она приближалась к деревне, впереди маячил крышей родной дом, притягивал к себе ее мысли и думы, и опять встало в глазах хмурое мужнино лицо. Потускнела Евдокия, холодком в душу повеяло. Начала искать в памяти тот день, с которого все пошло у них со Степаном наперекос. И не нашла. Не вдруг это случилось, а постепенно, незаметно, как трава в поле проклевывается.

Началось это где-то в конце шестидесятих годов. Ей — тридцать с небольшим, в самой женской поре и силе была. Известность уже появилась. Как же: передовая трактористка. Ее звено, из старых осталась одна Нинша, полторы-две нормы давало. Сил и уверенности у Евдокии было — хоть отбавляй. А в то время в крае сильно гремел один механизатор — мужик видный собою, с усами, портреты с газетных страниц не сходили. Евдокия через газету же и вызвала его звено на соревнование. Ох, и шум поднялся! Замелькали и ее портреты, а чаще — в паре с усатым механизатором. Газетчики так и паслись на ее поле. О работе соревнующихся звеньев сводки по местному радио передавались. Как с фронта! И Евдокия победила!

Это было самое счастливое время в ее жизни. На краевом празднике урожая побежденный усатый механизатор поцеловал ей руку. Евдокии аплодировал сам первый секретарь крайкома партии. Поздравления, цветы, хорошие слова... Слезы в глазах стояли от радости: ей, простой женщине, и такая честь. А потом, в Налобихе, вручили Тырышкиной именной трактор. С завода приезжали представители, митинг был. Переполненная счастьем, Евдокия не заметила, как пошуч-

нел Степан, словно бы оказался пришибленным столь сильной знаменитостью жены. На другой год Евдокию избрали депутатом краевого Совета. Ее уже часто вызывали в город на сессии, на разные совещания и торжества. Уезжала она, а с дочерью оставался Степан. От природы был Степан молчаливый. Он не корил жену, что все заботы по дому и по хозяйству ложились на него, только стал еще молчаливее. Однажды, когда Евдокия собиралась на слет отличников профтехучилищ, не выдержал-таки, хмуро заметил:

«Ты у нас как космонавт стала».

«В каком смысле?» — не поняла Евдокия.

«Нигде без тебя не обходится».

« Степа, ну раз приглашают...»

Он усмехнулся в сторону, ничего больше не сказал.

Евдокии самой было неловко, что вот она опять уезжает и снова Степану дня три придется одному управляться, но отказаться от приглашения не могла, вошла уже в новую для нее колею. Ей нравилось, с каким вниманием и почтением относились к ней на подобных мероприятиях. Она будет сидеть в президиуме, ловя на себе восхищенные взгляды. Услышит перешептывания: «Это та самая Тырышкина». Потом она расскажет о том, как победила в соревновании, призовет молодежь на село и под аплодисменты сядет. Дело не трудное, но приятное.

Реплика мужа задела ее. Иногда она и сама ловила себя на том, что кое-где без нее на самом деле могли бы обойтись, что она стала модной трактористкой и приглашают ее скорее ради солидности мероприятия, чем для дела. Но вместе с ней обычно сидели еще несколько человек, вошедшие в круг знаменитостей: ткачиха с хлопчатобумажного комбината, фрезеровщик с моторного завода, заслуженная учительница, доярка, бригадир леспромхоза, люди занятые, понимающие свою значимость. И, глядя на них, Евдокия думала, что раз они находят время тут присутствовать, значит, это действительно надо, просто она недопонимает и зря сомневается. Спорить с мужем не стала, чувствуя: его не убедить. Молчал и Степан, не вмешивался в общественные дела жены. Лишь когда Евдокии предложили поехать на курсы повышения квалификации и она посоветовалась со Степаном, тот твердо сказал:

«Не поедешь».

«То есть как не поеду?» — опешила Евдокия.

«А так. Не поедешь и все. Пусть пошлют кого-нибудь из холостячек. Скажи: я — женщина семейная. Некогда мне по курсам раскатывать. И так мол грамотная».

« Степа, ты как-то нехорошо говоришь...»

« А ты хорошо делаешь? — остро глянул на нее Степан. — Собираешься на целый месяц. На кого Юльку бросаешь? А дом? А хозяйство? Ты хоть об этом подумала?»

« Подумала, Степа. Конечно, тебе трудно будет...»

« Значит, пока ты там разъезжаешь, я опять крутись? Нет уж, хватит. Мужики надо мной смеются. Теперь ты на меня где сядешь, там и слезешь. Насиделся я дома. Вот так насиделся, — полоснул себя по горлу ладонью. — Под завязку».

« Ну почему ты такой? Ведь это надо. Не нужны бы были курсы — не создавали бы их. Я же не развлекаюсь туда еду. Какой ты, оказывается, несознательный у меня. Отстаешь от жизни».

Степан усмехнулся:

« А это еще поглядеть надо. Я отстаю или ты шибко далеко вперед забежала. Сказал: не поедешь и все!»

Евдокия с удивлением разглядывала хмурое мужнино лицо. Появилось в нем какое-то новое выражение, не знакомое ей.

« Гляди, какой командир выискался», — Евдокия уже начала злиться. Как так: с ней и вдруг не соглашаются. Отвыкла от такого.

« В поле ты звеньевая. Там команду сколько хочешь. А дома я пока что глава семьи. Вот так-то».

В этот день они серьезно поругались; впервые за их совместную жизнь. Евдокия уехала на курсы, а когда вернулась, Степан с ней уже не разговаривал. Полосатую рубашку и плащ, которые Евдокия привезла мужу в подарок, швырнул к порогу. И началась у них молчанка. На людях, по необходимости, еще перекидывались словами, а дома общались через Юльку. Иной раз Степан сидит тут же, в избе, а Евдокия скажет дочери: « Попроси отца, пусть по воду сходит». Или: « Зови отца ужинать». Вот так теперь и жили. И не раз подумывала Евдокия, что не та поездка была причиной, отчего развелись они со Степаном, трещинка появилась раньше. Ей бы остановиться, приглядеться и подумать, как быть, да все некогда. С утра до ночи в работе, в общественных заботах. О чужих людях беспокоилась, а про свою семью подумать было недосуг. А теперь что? Теперь уж живи как есть. С горечью замечала, что Юлька за отца стоит, а поделать ничего не могла. Гадала только: отчего? Может, Степан чаще бывал с нею, оттого дочь к нему и тянется? Или сочувствовала ему, видя, что мать сильнее? Дети ведь всегда на стороне более слабого. А может, понимала его какую-то правоту? Только гадать и остается...

Евдокия вздохнула и опечалилась, глядя на близкие крыши родной Налобихи. К давней размолвке с мужем она притерпелась, но нет-нет да и заносит сердце так нестерпимо, что свет не мил. Захочется пожаловаться кому-нибудь умному, мудрому, поплакать и избавиться от душевной тяжести. А кроме Нинши, не с кем поделиться. Да и как она утешит... Невесело усмехнулась своим мыслям и перешла проселочную дорогу, которая отсекала поле от деревни. Разглядывала крайние дома, высвеченные высоким еще солнцем. Стояли они тут совсем новые, недавно поставленные. Бревна стен не успели потускнеть и тепло золотились свежоошкуренной древесиной, в росных каплях смолы. Кое-где между ними незаконченные срубы без крыш, с темными провалами дверей и окон. Быстро разрасталась Налобиха, вот уж от яра до проселка дотянулась. Дорогу ей перешагивать нельзя, там — поля. Теперь, наверное, будет строиться вдоль Оби.

Налобиха была не очень старая деревня. Появилась она в начале века, когда российские крестьяне двинулись в Сибирь на богатые, пустующие земли. Много переселенцев проехало тут, по высокому берегу Оби. Одни, рассудительные и дальновидные мужики, пробирались дальше, искали места, где и реки спокойнее, и берега более пологие, и ветров больших нет. Другие, поотчаяннее, глянув с высоты в заречные таежные дали, бросали телеги, переправлялись на рыбачьих лодках и, навьючив лошадей скарбом, уходили в черную тайгу, в глухие урманы, обильные промысловым зверем и птицей, где издревле селились староверы. Шли за охотничьим счастьем, веря, что тайга прокормит.

Долго пустовал высокий, обрывистый берег, но однажды остановился тут обоз переселенцев из-за несчастья: у Тырышкиных пала лошадь. Переночевали. Обоз наутро двинулся дальше, а Тырышкины, Горевы и Ледневы остались. Все они были из-под Муромы, семьи родственные и не захотели бросать родственников одних, к тому же без тягла. Решили перебиться как-нибудь вместе. Мужики навозили из колков берез, принялись сооружать шалаши. Землица в поле оказалась куда с добром. Паши ее да сей, без хлеба не останешься. Какой еще доли искать? И стали новоселы прирастать к новому месту. Пилили плахи, мастерили плоскодонные лодки, сплавливали на них из-за реки сосновые бревна, заложили дома. Появилась над Обью крохотная деревенька, даже и не деревенька, а займище. Высоко оно стояло над рекой. Снизу, с воды глянешь — будто в заоблачье висит. Диковатый, завораживающий вид был

с крутояра. Далеко видать. Синим морем растелилась тайга за отливающей сталью полосою реки. Смотришь, и даже озноб пробивает от необычности. Так и кажется, что у самого вырастут крылья за спиной и полетишь над всем этим необъятным простором, где волю и земли, и воды, и тайги. Слишком много здесь было воли, не могли на нее мужики насмотреться и нарадоваться, души не хватало.

Дорогу по-над Обью переселенцы накатали, и все новые и новые семьи ехали по ней искать счастья в сибирских краях. И по-прежнему рассудительные и осторожные мужики миновали займище стороной, примериваясь душой к тем местам, которые оставили в родной стороне. К займищу же изредка прибывали люди, уставшие от дальней дороги, изверившиеся в удаче. Незаметно займище переросло в деревню, которую новоселы называли было Надобихой, потому что стоит над Обью, но, оказалось, жители Раздольного, ездившие к реке рыбачить, придумали уже свое название и как припечатали: Налобиха. Везде не иначе как Налобиха да Налобиха. Так и пристало это название, а потом и в бумаги вписали, в волостные. Смирились новоселы с этим именем, тем более, что оно как нельзя лучше подходило. Над Обью селений много, но вот таких, как эта, усевшаяся на лбу, — поискать надо. Действительно ведь: на самом лбу, отовсюду ее видать.

Жила новая деревня и не тужила. Пахла землю, строилась, раздвигалась во все стороны. И шло это до тех пор, пока из Раздольного не прикатило волостное начальство.

«Вы что-де, братцы, лесом то вольно пользуетесь? Он не бесхозный, а принадлежит Кабинету Его Величества. На порубку надо билет справлять, деньги платить. А у вас — воровство».

Удивились мужики:

«Царь-то эвон как далеко, ажно в самом Питере. На что ему этот лес? Он его и в глаза не видел».

Оштрафовали двоих, и деревня притихла, затаилась. Днем теперь уже никто не плавал за лесом, а все ночью.

К той поре в Налобихе уже сложилось общество из новоселов, и когда надо было что-то решить — принять ли к себе новую семью или, к примеру, подумать, как возить ребятшек в приходскую школу, — собирався на берегу самочинный сход. А поскольку первыми новоселами были Горевы, Тырышкины, Ледневы и чуть позже Колобихины, то главы этих семейств и вершили на сходе все дела. Последнее же слово всегда оставляли за Горевым — рассудительным, немногословным

мужиком. Люди его отчего-то слушались, признавали за ним право сказать конечное слово, хотя в старшие его никто не выбирал, и вообще в Налобихе никакого выборного старосты пока не было. Однако какой ни есть, а сход был, и был Горев, никем не назначенный, но главный в деревне человек.

Потом уже, попозже, приехали и Брагины — семья крепкая, самостоятельная, обосновавшаяся на новом месте тоже крепко и надолго. Построились Брагины в конце деревни, на отшибе. Пятерых сыновей, приехавших с женами, Брагин отделил, помог поставить свое жилье, и уже шесть брагинских домов, вместе с отцовским, возвышались на берегу особняком: вроде бы и в деревне, и в то же время отдельно от нее. Похоже, по соседству с Налобихой угнездилась новая деревенька. И никто не мог понять: хорошо это или плохо.

Брагин был хозяин цепкий, корни в новом краю пустил глубоко, и мужики, уважая его хозяйское радение, приглашали на сход в числе первых, прислушивались к его голосу. Так вот: когда волостное начальство укутало к себе в Раздольное, наказав, чтобы налобихинцы выбрали старосту и староста явился бы в волость, Брагин сказал:

«Во, как оно обернулось. Ехали от царя да к царю и приехали. Выходит, и тут нет воли».

«Дак совсем-то без властей и не бывает, — ответил ему рассудительный Горев. — И не только не бывает, а и нельзя. Власть — она для порядка, чтобы мы меру и совесть знали. Другое дело: какая власть? Вот ежели бы справедливая, которая за мужика, тогда бы еще ничего».

«Про такую я не слышал», — сказал Брагин.

«Зато я слышал. Говорят, все к этому идет».

«Может, оно и так... — не сразу согласился Брагин, да и согласился только голосом, а не душой, и долго, прищурившись, смотрел в голубую заречную даль, словно высматривал там что-то свое, одному ему видимое, потом продолжил: — Я не против налога. От него, как от смерти, не спрячешься. На краю земли найдет. Да по мне лучше бы так. Я отдаю налог, сколь числится, а больше ты меня не задевай никакими указаниями. В остальном я вольный. Не мешай жить, как душа желает. Я — сам по себе, власти — сами по себе. Один другого не трогают».

Необычного желал Брагин, и многие стали гадать: к чему клонит, чего хочет? Как это — совсем без властей? Горев умно сказал, что без властей не бывает, а здесь хо-

тя и Сибирь, край отдаленный, дикий, но ведь Россия же, стало быть, и власть тут российская. Все земли давно поделены между державами, ни одного кусочка беспризорного не осталось, даже не ищи. Бывает, что далеко до больших властей, но маленькие везде есть, от них никуда не укроешься. Однако и намек Горева про власть, которая «за мужика», тоже озадачил налобихинцев. Какие еще могут быть власти, кроме исконной, царской? Задумались мужики, понимая, что Горев и Брагин еще свое скажут. Одно было ясно: эти два человека в мире не уживутся. И как ни много в Налобихе простора, а им все равно тесно тут будет.

Вот как начиналась Налобиха, особенная эта деревня. Много лет прошло с тех пор. Перемерли старики-новоселы, уже их сыновья и дочери постарели, а прошлое помнили, держались за него памятью.

Евдокия медленно шла широкой улицей, разглядывая стоящие на пути дома пристально, с неожиданным для себя интересом. Каждый день из года в год ходила она этой улицей и даже с завязанными глазами могла сказать, где чей стоит дом и каков он с виду. Но за последнее время то ли сильно уставать стала на поле, то ли окружающее настолько примелькалось, что взгляд ее скользил поверхностно, бегло, не останавливаясь на мелочах, отмечая лишь общие очертания строений, по которым она находила дорогу на работу или домой. Каждый дом на пути представляла себе таким, каким он когда-то запомнился, и, проходя мимо, даже не взглядывала на него, видела памятью.

Ее удивило, что отпечатавшиеся в памяти дома не совсем такие, какие есть на самом деле. Оказывается, дома стареют и ветшают, а память остается прежней. Улыбнулась с грустью: незаметно годы текут, ох незаметно... Евдокия разглядывала сейчас родную улицу не просто так, сама того не ведая, она что-то искала в порядке строений. И когда глаза остановились на доме Горева, того самого Горева, который когда-то был в числе первых налобихинцев, но потом умер, и где теперь жил его состарившийся сын, бывший первый председатель Кузьма Иванович, она поняла: нашла то, что искала. И замедлила шаги.

Дом Горевых ей всегда представлялся очень высоким, потому что девочкой запомнила его таким, а сейчас присмотрелась повнимательнее и покачала головой: очень уж постарел и изменился дом, а она ходила тут каждый день и не замечала этого. Уж и не дом, а ветхая изба по сравнению с теперешними. Таких, как у Горева, изб в Налобихе

сохранилось немного, нынче строят с размахом, пятистенники да крестовые. Потемнели и растрескались бревна стен. Прогнили, обросли зеленым мхом черные плахи крыши. На скатах вздрагивали под ветром сухие кустики прошлогодней полыни; странно было их видеть на крыше, да и сама крыша казалась ниже, чем была раньше, — изба медленно оседала к земле. Сиротливо выглядело жилище, никем не ухоженное, молчаливое, без людских голосов. Слишком много в нем места для одного человека.

Давненько Кузьма Иванович не подправлял, не конопатил свой дом. Может, уж и сил не было, а скорее всего сознавал, что на его недолгий век и этого хватит, в наследство дом оставлять некому. И подумалось Евдокии, что если поговорить в правлении, то избу первого председателя, конечно же, отремонтируют. Для колхоза это особенных трудностей не доставит, да надо ли ремонтировать и для кого? Уйдет Горев из этого мира, и дом останется стоять пустым, с заколоченными окнами, он ненадолго переживет хозяина. Пустые дома умирают скоро.

Она глянула в покосившееся окно, но внутри было сумрачно, никакого движения не уловила. Может, отдыхает Кузьма Иванович, а скорее всего пошел куда-нибудь. Тягостно старому человеку сидеть в одиночестве. Наверстать бы его, помочь чем-нибудь, да жаль, времени нет. Надо поспать, чтобы потом не клевать носом в кабине трактора. И, виновато уведя глаза, Евдокия пошла дальше. Навстречу ей надвигалась приземистая, крепкая еще изба, стоявшая неподалеку от горевского дома. Жила здесь Игнатъевна, старуха без роду-племени. Сколько помнит ее Евдокия, всегда-то Игнатъевна была старой старухой, словно такой и на свет родилась. Никогда она в колхозе не работала, получает ли пенсию — бог ее знает. Однако над стайкой сено горбится, куры по двору ходят, поленница дров от зимы осталась. Сказывают, гадает она тайком бабам да девкам. Этим, видно, и промышляет. Вот она какая непростая жизнь: по-разному живут люди, а все в тепле, одетые, сытые. Солнышко греет всем одинаково. В свою бытность председателем Горев Игнатъевну не трогал, хотя время было строгое: живи только так и не иначе. А теперь до старухи вообще никому нет дела. В правлении ее гадание всерьез не принимают. На нее не жалуются, держится тихо, смиренно — и ладно. Лишь бы до района не дошло.

Об Игнатъевне Евдокия подумала мельком, походя, мысли снова воротились к Гореву. Заходить нынче к Кузьме Ивановичу она не собиралась, так для какой нужды ис-

кала глазами его дом? Чего ждала от вида старых стен, от крыши, которая хотя еще и высоко над землей, а над ней уже, как напоминание о близком конце, качается степная полынь? Какого отклика в душе дожидалась? Этого Евдокия не знала и прислушалась к себе, но ничто в ней не отозвалось. В душе были усталость и грусть, больше ничего. А ведь в последнее время тянуло ее сюда, значит, была какая-то причина, пока самой не ясная.

В сорок втором году Евдокии стукнуло пятнадцать лет, хотя каждый бы ей дал больше. Девка она была рослая, крупная в кости, выглядела гораздо старше своих лет, невеста и только. Ко всему прочему грамотная, неполная семилетка за плечами, и ее поставили учетчиком. Ездил на коне по полям, вела учет. А потом как-то, на поле же, подошел к ней Горев.

«Слышь, Дуся, как ты смотришь на то, что ежели на трактор тебе сесть? Глянь-ка, кругом одни бабы да пацаны робят. Землю пахать больше некому, а хлебушек растить надо. Без хлебушка бойцу врага не одолеть».

«А что, дядя Кузьма, пойду! — быстро согласилась Дуся. — Батка на войне, вот я заместо него и сяду!»

«Заместо него, говоришь? Была бы ты парнем, тогда заместо отца, может, и вышло бы, — негромко сказал Горев. — Отец твой, Никита Александрыч, очень был ладный тракторист. На его тракторе вон Легостаева, а ты при ней будешь на подмене», — вздохнул и отошел.

Трактористские курсы она закончила скоро. Да и какие тогда были курсы, в тяжелый, отчаянный год. Неделю поехала с Легостаевой, как все называли эту пожилую женщину, рядышком, поглядела, как та управляет, сама посидела на водительском месте, покрутила баранку колесника, а как научилась ровно загонку держать, стала подменять свою наставницу. И ведь пошла у нее работа, еще как пошла-то! На пахоте обгоняла не только мальчишек-одногодков, но и опытных женщин, словно вместе с отцовским трактором получила отцовские силы и умение. Сильная была! Другая женщина едва смену дотянет. Слезет на землю, и ее качает из стороны в сторону, на ногах не стоит. А Дуся свое отработает, да еще и за Легостаиху прихватит — азартная на работу оказалась. А после этого отдохнет чуть-чуть и в деревню идет легко, чувствуя в молодом, гибком теле неизрасходованные силы, словно и не тряслась на тракторе, а гуляла на поле. Много в ней зрело сил, не знала, куда девать. Горячая кровь распирала, не давала покоя.

Придет домой, поможет матери прибраться по хозяйству, сходит по воду на Обь, да и бежит в клуб, где бабы собирались вечерами посидеть вместе, потосковать по мужьям, братьям, отцам и сыновьям. Рассядутся, бывало, по лавкам вдоль стен, поговорят о том, что слышно с фронта, да кто-нибудь и затянет старинную ожидальную, не слыханную в Налобихе прежде песню, робким от своей одинокости голосом, который еще только нащупывает мотив и слова, осторожно пробует их и может оборваться, если его не поддержат. Другие, затаившись, выждав момент, бережно, чтобы не испортить, не помять, поднимут песню, поведут ее дальше легко и чисто. И разглядятся у женщин ранние морщины, высветлятся лица дальней, задумчивой грустью, так что, глядя на них, непонятно: сами ли они поют или только прислушиваются к себе, легонько подтягивая и удивляясь невесть откуда взявшемуся в них полубабытому напеву. Наверное, очень давно матери передали эту песню дочерям на всякий случай, мудро предвидя, что она пригодится, и дочери долго держали ее в себе, берегли для чего-то, не забыли, и вот, когда песня понадобилась, она и вышла на волю, бередя души отболевшей болью давно ушедших из жизни матерей. Притихнут жмущиеся у порога девчонки и парнишки, не по-детски опечалятся, впитывая в себя древний напев, который, может, когда-то и у них в лихой час вырвется наружу, удивляя и тревожа будущих, не знающих горя и печали, детей.

А Легостаиха, крепкая, коренастая баба с хриплым мужицким голосом, с вечной махорочной самокруткой во рту, всегда сощурившаяся от дыма, послушает-послушает тягучие, ноющие, как рана, голоса, часто заморгает набухшими глазами и, не дождавшись конца песни, придушено крикнет:

«Ну чо мы как на поминкак? Давайте-ка, бабы, лучше спляшем да споем веселое! Пускай беда поглядит, какие мы боевые. Напугаем ее, чтоб к Налобихе на дух не подходила! Ну, кто начнет первый? Нету первых? Эх, милые, выть-то мы все горазды. А когда воем — с нами беде легче сладить!» — и, никого не дожидаясь, бросит окурочек к печке, затопчет сапогом, отчаянно тряхнет крупной головой, как бы разом стряхивая с себя печаль и усталость, тяжело пройдет по скрипучим половицам, раскинув в стороны корявые, с бугристо проступившими венами, измочаленные работой руки. Хрипло, призывно пропоет:

Все война, война, война,  
все одна, одна, одна.  
Сама лошадь, сама бык,  
сама баба и мужик!

«Ну, будем плясать, нет? Эх, гармониста бы! Барыню бы! Поехали, бабы! Поехали, родные! Мы уж без музыки!»

Следом за Легостаихой выскочит в круг и Дуся, поплывет перед женщинами лебедем, легко, невесомо, едва касаясь ногами пола, будто по воздуху подетит. Руку с цветастым платочком держит на отлете, другой подбоченится, гибкую спину горделиво выгнет, улыбается всем счастливо — залюбуешься ею. И не только залюбуешься, а и невольно сравнишь их. Одна — тяжелая, нагруженная свалившимися на нее тяготами и бедами, с лихорадочно посверкивающими, утомленными работой и недосыпанием глазами, придавленная к земле мужицкой и бабьей работой, правда что — сама баба и мужик; горькая частушка словно о самой спета. А другая перед нею — легкая, парящая, не тронутая еще жизнью, устремленная вдаль, вся в ожидании радостей, только радостей и ничего иного, будто если и есть на земле тяготы и беды — они не для нее. У нее же впереди — только светлое.

«Ой, девка! В кого она такая? — качали головами женщины. — Прямо живой огонь. Так и горит».

А Дусе хорошо, отрадно под размягченными взглядами и пожилых женщин, и мальчишек-подростков, косящихся на нее тайно и жадно, как на недоступное, понимающим, что она, их ровесница — не ровня им. Она и на самом деле — им не ровня, она была старше их. Не годами старше, а чем-то другим, не ясным ни им, ни ей самой. Всем телом ощущала Дуся это свое превосходство перед ровесниками, поэтому не обращала на них внимания. Она тянулась к старшим своим подругам-женщинам, которых любила и жалела. Ей просветленно думалось, проплывая по кругу в танце, что неминуемо наши побьют немца, ее отец вместе с другими мужчинами воротится домой, и родная Налобиха заживет прежними мирными заботами. Да иначе и быть не может, если женщины день и ночь работают за себя и за воюющих на фронте мужчин, если они цепенеют от ожидания и страха, когда приезжает почтальон из Раздольного, если на постаревших женских лицах не кажется улыбка, а лежит постоянная тревога. Ведь есть же на свете какая-то высшая справедливость, та коренная неизбывная правда, которой живет все живое и на чей праведный суд это живое надеется. С детства жила в ней эта вера в лучшее, в то, что как бы там ни было, а правда всегда справдится.

Она верила, и правда справдилась, хотя не скоро. Кончилась война, вернулись мужчины в Налобиху, да не все. Иные воротились

калеками, отец же Дуси вовсе остался в чужой земле. Остался, и не поглядеть ему теперь, какой стала его дочь, не взять у нее свой трактор. Справдилась правда, но слишком долго она добиралась до Налобихи, и слишком дорого она стоила.

Сорок второй год... Как давно это было. И вот сейчас, проходя мимо дома Горева, вспомнила прошлое. Да, теперь она уже не такая, какой была тогда, в далекое время. И уже не Дуся она, а Евдокия Никитична. Иные, помоложе, так те кличут ее просто Никитичной, словно старуху. А может, старуха она уже и есть? За дальними, невозвратными далями осталась прежняя легкая, верящая только в радости Дуся. Теперь вместо нее шла деревенской улицей пожилая, с раздавшимся усталым лицом, отрадовавшаяся выпавшими ей скудными радостями, отвергившаяся, с опущенными, гудящими от работы руками женщина. Шла тяжело, по-мужицки вразвалку, чувствуя, как грузно ее тело, плотно ступая на землю стоптанными кирзовыми сапогами, и походкой, и всем своим видом похожая на Легостаиху. Но Легостаихи уже давно нет на свете, она свое отработала, отстрадала и ушла. А ведь ушла не бесследно, заслужила она, видно, перед высшей Правдой, чтобы облик ее не выветрился из людской памяти, не пропал из людских глаз, вот природа и оставила тут похожего на нее человека — Евдокию. Лицо, верно, у Тырышкиной немного другое, черты не схожие, а выражением лица и оплывшей фигурой в серой пыльной телогрейке, в серых же штанах и сапогах — вылитая Легостаиха. Вот как: даже не дочь, не сестра, не родственница Евдокия Легостаихе, а похожа на нее и все тут! Сама того не ведая и не желая, повторила ее Евдокия. И теперь, поймав себя на этой мысли, невесело подумала, что ведь и ее кто-то повторит. Кто же именно-то? Валентина, Галка? Или дочь Юлия?

Дальним зрением заглянула Евдокия вперед, в не прожитые еще годы, когда, может быть, ее уж и на свете не будет, и явственно увидела тяжело идущую с поля другую женщину, похожую на нее, Евдокию, только лицо у нее было Юлькино. Увидела обавившуюся, оплывшую от годов и неженской работы свою дочь, и все в ней запротивилось этому. Даже головой замотала, прогоняя видение. Нет, не такой она хотела видеть Юльку, совсем не такой. Разве мало она, мать, переделала на земле тяжелой мужицкой работы, мало перемучилась? Неужели что-то недоделала на этой земле, что теперь дочери придется подхватить материну лямку и тянуть ее дальше? Так нет, никто Евдокию за про-

шное не осудит. Того, что она вынесла на своих плечах, и на дочь с лихвой хватит. Хватит да еще и останется для кого-нибудь другого. В общем, она, мать, заработала, чтобы у ее дочери жизнь была светлая и легкая, какую самой прожить не довелось. А ей, матери, за все небольшая нужна награда: чтобы Юлька выросла хорошим человеком, выдать ее замуж за хорошего человека, да нянчить внучат. Немного Евдокии надо, не больше того, чего хочется любому пожилому человеку... Евдокия вдруг усмехнулась над собой. Размякла, рохля. «Легкая и светлая жизнь». Где ее такую для Юльки искать-то? Может, и есть такая жизнь, да только не в Налобихе. Тут не легкая, тут вкалывать надо. Да и скучно, поди, жить легко-то. То, что легко дается, легко и забывается. У нее вон трудно шло, так и вспомнить есть о чем. Эх, Дуся, Дуся, старешь, видно, душой слабешь. В слезливость потянуло.

Она передернулась, как от озноба, отгоняя от себя мысли, которые навевал ей словно бы другой человек, слабый и уставший, и пошла быстрее. Миновала горевский дом, осталась за спиной изба Игнатъевны, впереди маячил уже собственный дом, недавно отстроенный, под высокой шиферной крышей. Евдокия вплотную приблизилась к калитке, но отворять ее медлила, оценивающе оглядывала свой дом, будто видела его впервые. Новый-то он был новый, пять лет назад перестроенный заново, да как-то невесело глядел на мир чистыми окнами, словно чувствуя: не все в нем ладно. Мох повылазил кое-где из щелей, шевелился под ветром, как живой, требовал к себе хозяйского внимания. Лист шифера на крыше оторвало еще в февральскую метель, висел он на одном гвозде, того и гляди совсем слетит наземь. Где твои глаза и руки, Степан? Мысленно укорила мужа, но и самой неловко было перед домом, была тут и ее вина, не одного Степана.

Вздохнула и вошла в дом.

В комнатах — прибрано, чисто. От свежeweмытого пола струилась прохлада, из кухни пахло борщом. Все-то успела сделать ее Юлия: и уроки, и ужин сготовить. Увидев мать, стала накрывать на стол.

Спросила:

— А где отец?

В ее голосе угадывались одновременно и легкая тревога, и осуждение, дескать, вот ты пришла, а отца нет. Оно едва различалось, это дочернее осуждение, а Евдокия сразу уловила его.

— Он в поле, — тихо ответила, понимая, что оправдывается перед Юлией, и добавила: — Тракторы направляет. Мы ведь по две

смены нынче работать будем. Я вот отдохну маленько да опять пойду.

— Куда ты пойдешь? Ты вон еле пришла, — мягко сказала Юлия, смутившись за свой тон, извиняясь перед матерью и улыбкой и голосом. Поставила на стол тарелку с борщом.

— Что поделаешь... Надо, доча. Погода не ждет. Ты ведь крестьянка, понимать должна.

Юлия присела к столу, подперла голову ладонями, смотрела, как мать ест. Улыбнулась:

— Какая я крестьянка...

— А кто ж ты? — Евдокия даже ложку отложила.

— Ну как кто... В школе учусь.

— Что ж из того, что учишься. Отец твой крестьянин, мать крестьянка. Сама в деревенской школе учишься. Значит, и сама ты из крестьян будешь.

— Из крестьян — это другое дело.

— Ты вроде как стыдишься этого? — с укором спросила Евдокия.

— С чего ты взяла?

— Вижу... А зря. Мы страну кормим хлебом. Крестьянин у нас...

Юлия ее мягко перебила:

— Мама, я знаю, что такое крестьянин. Не надо. Пожалуйста, — просительно улыбнулась. — У нас сегодня в классе Леднев был. С ребятами беседовал, которые на сев идут. Я ему говорю: Андрей Васильевич, а меня возьмете на селяку? Он глянул на меня: вас? И покраснел, покраснел. Смех и только.

— Юлька, как тебе не стыдно!

— А он всегда краснеет.

— Глупо это. Давай-ка поговорим о серьезном.

Юлия склонила набок голову.

— О чем?

— Ты ведь выпускница. Пора бы уже определиться: что дальше?

— Мам, а тебе когда идти в поле?

Евдокия недоуменно подняла на нее глаза.

— К пяти надо.

— А ты еще даже не отдохнула. Давай вот так сделаем. Ты сейчас ляжешь, а я пойду погуляю. Чтобы не мешать тебе. А про династию механизаторов Тырышкиных поговорим в другой раз. Хорошо? Ну вот, ты же у меня умница! — Юлька потянулась через стол, чмокнула мать в щеку, и та не успела опомниться, как дочь уже шуточно махала ладошкой из дверей. Дробь каблуков по ступеням крыльца — и все стихло.

Евдокия опечалилась. Поговорили, назы-



вается... И вот всегда так. Только рот раскроешь, сразу убегает. Прикрикнуть бы на нее хорошенько, посадить на стул — слушай. Не получается... Да и не заставишь слушать насильно. Улетела. А куда? Матери ни слова, ни полслова. А Леднев-то, взрослый, семейный мужик — перед девчонкой краснеет. Ну и дурень... То-то он перед ней, Евдокией, глаза опускал. Совестно, поди. Надо будет высказать ему, чтоб людей не смешил. Парторг все-таки.

Задумалась о дочери. На удивление красивая была у нее Юлька. Об этом Евдокии и женщины говорили, и сама она видела и поражалась. Очень уж неожиданна оказалась для нее дочернина привлекательность: в кого ей такой быть? Сама Евдокия смолоду выглядела пригожей, но красавицей не назовешь: девка свежая, сильная, с проворными руками. Серые глаза ее за много лет выцвели, а раньше они столько таили в себе огня и жизненной силы, что мужики, глядя на нее, понимающе переглядывались. В общем, не красотой она привлекала, а юностью, бойкостью, умелостью в любом деле, и веселая была, такая хозяйка в любом доме нужна. Степан — тоже не из красавцев писаных. Мужик как мужик, пройдешь мимо — и не оглянешься. Обыкновенный. Характером он Евдокии поглянулся: молчаливый, работающий. И — сдержанный. Не выпивал почти совсем, а это уже само по себе большое достоинство. И вот при таких-то обыкновенных родителях — дочь красавица. Сами Евдокия и Степан всю жизнь при тракторах. Руки заскоружили от въевшейся солярки, грубы от металла, в движениях угловаты и неловки, широки в кости. А поглядят на дочь и диву даются: столько плавности в каждом ее движении, во взгляде. Черты лица тонкие, благородные, и вся она — какая-то не по-деревенски хрупкая и нежная, даже удивление брало: их ли это дочь? От их ли плоти? Отец с матерью трактористы, а Юлька на балеринку похожа. Из каких глубин пришла красота такая к их дочери? За родительский ли тяжкий труд в благодарность? Или на беду? Вот и думай. Вот тебе и крестьянка...

Поев, Евдокия прилегла на диване, и лишь теперь поняла, как устала. Пока шла домой, пока сидела за столом — держалась. Усталость дождалась ее за спиной, подгадывала свое время и теперь, когда Евдокия расслабилась, навалилась на нее сразу, туго спеленав все тело. Гудели руки и ноги, тяжелые веки смеживались сами собой, но она не засыпала, глядела на край свесившегося со стола Юлькиного рукоделия. Коврик это будет, что ли? Похоже, коврик на стенку. Сбоку вид-

ны вышитые шелковистыми нитками диковинные кони о шести ногах, мчащиеся по полю и едва касающиеся копытами высоких трав.

Евдокия и раньше удивлялась этим коням, все хотела спросить дочь: почему они с шестью ногами-то? Где таких видела, в каком табуне? Но забывала спросить. Теперь легонько усмехалась про себя. Сколько помнила, Юлия всегда что-нибудь вышивала. Прибежит из школы, сделает уроки, подойдет по дому — и скорее за вышивание. Самый лучший для нее подарок — цветные нитки. Когда Евдокия бывала в городе, то обегала все галантерейные магазины, искала для дочери разноцветные нитки, а та прямо-таки не в себе бывала от радости. К щеке их прижимала, целовала — дорожке ей ничего нет. Вот еще одна матери загадка: откуда эта страсть к рукоделию взялась у Юлии? От кого передалась? В роду Тырышкиных никто вышиванием не баловался, и у Евдокии такого пристрастия не замечалось. Иголку, как всякая женщина, брала в руки — починить какую-то вещь для Степана, для Юлии, для себя. А вышивать — нет, не возникало желания. После трактора вышивать не поманит, да и пальцы у нее давно уж нечувствительны к таким мелким предметам, как иголка. Совсем деревянные стали, не гнутся. Это Юлии — в самый раз. Пальчики тонкие и проворные. И характером дочь для этого подходяща: терпения надолго хватает. Иной раз заполночь засидится на кухне с рукоделием. Насилу в постель уложишь. Но вышивание вышиванием, а что дальше? Куда пойдет после школы? Опять толком поговорить не удалось. «В другой раз», — вспомнила Юлькины слова. А когда он будет, другой-то раз?

Сон наваливался, и Евдокия, пересилив себя, поднялась, завела будильник на четверть пятого.

4

Тракторы были заправлены, осмотрены, но двигатели их молчали до поры, и тихо было в поле. Евдокия не спешила подавать сигнал к запуску. Чувствовала: надо что-то сказать женщинам веселое перед началом работы, ободрить их своей собранностью. А то вон Колобихина позевывает, лицо мятое, сонное. Не выспалась, это и без расспросов ясно. По рукам заметно — стирала. Валентина по обыкновению бесстрашна, глядит мимозвеньевой. Ее Евдокия ни о чем не спросит, да та и не ответит. А если ответит — колкостью. Лучше не задевать. Галка прячет глаза, нахотлилась.

— Как настроение? — спросила ее Евдокия.

— Ничего, тетя Дусь.

Евдокия заглянула в кабину Галкиного трактора, помяла рукой жесткое, засаленное сиденье и поморщилась. Тракторишка старенький, пружины в сиденье давно смялись, не амортизируют. Потрясись-ка смену... Надо сказать Постникову, чтобы сделали подстилки из поролона, все мягче будет. А то как на доске.

Пошла дальше. Наткнулась на насмешливый взгляд Валентины, обошла Валентину стороной, как неживой предмет, а возле Колобихиной остановилась.

— Ну, как твой Володька?

Та отрешенно махнула рукой:

— Ой, не говори! Сулился домой не пустить. Придешь мол поздно, отпирать не стану. Хоть под заплотом ночуй.

— По-доброму, значит, не договорились?

— С моим-то идолом? — усмехнулась Колобихина. — С ним без бутылки сам черт не договорится.

— Ничего, Нинша, не бери в голову, — опустила тяжелую руку на плечо подруги. — Это он тебя пугает. Пустит, никуда не денется.

Степан стоял в сторонке, возле своего трактора, задумчиво курил. «Надо бы отпустить его отдохнуть», — подумала Евдокия и уже шагнула было к мужу, но ее остановил крик Галки:

— Теть Дуся! Глядите, к нам кто-то едет!

Евдокия обернулась и увидела вдалеке высветленную закатным солнцем светлую крышу легковой машины, которая пылила по дороге сюда, к Бабьему полю. Позади машины, отстав немного от ее пыльного хвоста, мчался мотоцикл.

— Эт-то что за делегация? — с недоумением проговорила Евдокия, приглядываясь к подъезжающей машине, и сразу же поняла, что никакая это не делегация, а пожаловали Брагины на своих «Жигулях». На мотоцикле же ехал тракторист из брагинского звена Колька Цыганков, мужичонка беспутный, выпивоха. Нигде Колька подолгу не задерживался, отовсюду его выгоняли, а у Брагиных прижился. Интересно, надолго ли?

Из машины неторопливо, с достоинством вышел сам звеньевой Алексей Петрович Брагин, высокий, полный мужчина. Черты лица у него крупные, резки, однако приятны. Аккуратно зачесанные назад волосы черны, густы и лишь на висках слегка седоваты. Мужик самовитый, породистый, ничего не скажешь.

Подбоченясь и покачиваясь с носка на пятку, Алексей Петрович оглядывал и трак-

торы, и стоящих подле них женщин, и само Бабье поле со снисходительной улыбкой. Умел он себя подать, умел. Не знали бы его здесь, так подумали бы — районное начальство прикатило, не меньше.

Следом за отцом из машины, с водительской стороны, вышел сын Брагина — Сашка. Парень высокий, в родителя, и хотя еще юношески гибок, но чувствуется, наберет солидности в свое время, такой же будет крупный, породистый. Глаза у Сашки черным-черны. Посмотришь в них — и свое отражение увидишь. И еще заметишь в них какую-то дичинку, беспокойные золотые сполохи. Сашка в прошлом году вернулся из армии и работал хорошо. Его портрет красовался на колхозной доске Почета.

На заднем сиденье машины виден был еще и Егор — родной брат Алексея Петровича, широкий, медвежастый мужик, невероятно сильный, но, как ребенок, простодушный и молчаливый. Старшего брата он слушался и во всем повиновался.

Евдокию удивил не столько сам приезд Брагиных, как то, что одеты они были в выходные костюмы. И — при галстуках. А на ногах не сапоги — дорогие полуботинки. Не скажешь, что с поля едут.

— Здоровы были, соседи! — зычно поздоровался Алексей Петрович, с веселым прищуром оглядывая женщин. — Не разберу: то ли кончае, то ли еще собираетесь пахать, а?

— А у вас вроде какой праздник? — громко поинтересовалась Евдокия, придиричиво разглядывая гостей и не зная, чего ждать от их неожиданного визита. Одно она понимала: Брагины просто так ничего не делают.

— С чего ты взяла, что праздник?

— Вырядились, как на свадьбу.

— Кто вырядился? Мы? — Брагин с недоумением посмотрел на Сашку, на ухмыляющегося Кольку Цыганкова, заглянул в кабину — на Егора. — Ты чего-то путаешь, Евдокия Никитична. И праздника никакого нету, и никуда мы не вырядились. Мы домой едем. Двенадцать часов отбухали, с пяти до пяти. И решили посмотреть, как вы тут. Намного ли нас обогнали? Все-таки соревнуемся.

— Пахали-то при галстучках?

Брагин изобразил на лице удивление, потом раскатило расхохотался и сказал:

— Вам не верится, что мы с поля, потому что не чумазые, да? Так ведь у нас в звене, Никитична, культура производства. Мы как кончаем работу — сразу к озерку. Вымоемся, переоденемся в чистое и тогда уж — домой. С хорошим настроением. Культура у нас на высоте. Скажи, Николай Ильич? — обернулся он к Цыганкову.

— Только так! — с готовностью подтвердил тот, и лишь теперь Евдокия заметила, что и Колька не в телогрейке, а в стареньком, но пиджачке, и тоже — при галстук. Галстук цветастый и новый — пиджачку Колькиному не родня. Наверное, Брагины ему дали, для форсу. И хотя галстук на тонкой Колькиной шее видеть было удивительно и, чувствовалось, мешал он с непривычки, а вот поди ж ты: при галстук — и все. Вроде бы даже это и не Колька с вечно всклокоченными волосами и мятым, землистым от перепоя лицом, а совсем другой человек — причесанный и побритый. Даже не верилось в такое превращение. Недаром и Брагин его навеличивал: Николай Ильич. Что же он затеял-то? Какой спектакль?

— Ну и как вы поработали? — спросила Евдокия.

— Обыкновенно. Две нормы, — скромно ответил Брагин.

— Только так! — гордо ухмыльнулся Цыганков, которого всю жизнь ругали да гнали с одной работы на другую, а сейчас он чувствовал себя героем, петухом крутился перед женщинами, заглядывал в глаза звеньевому, ловил каждое его слово, каждый жест.

— Всего-то? — усмехнулась Евдокия, оглядываясь на Колобихину, на Галку. — Мы-то думали, вы не меньше, как весь клин, закончили. Такие радостные едете. А вы всего две нормы. Плохо, мужики, плохо. Полторы-то мы до обеда сделали. Сегодня у нас две с половиной будет. — Она маленько прибавила и незаметно подмигнула Нинше, чтобы та не выдавала. — Ишь, удивили чем! Две нормы! А, бабы?

— Ага! Нашли чем хвастать! — выскочила вперед Колобихина. — Галстуками удивили! Женихи!

— А чем не женихи? — улыбнулся Брагин и сделал широкий жест рукой в сторону Цыганкова. — Вот, к примеру, Николай Ильич. Поглядите на него. Холостой мужчина. Хороший тракторист. Зарабатывает — дай бог каждому. Не пьет. — Брагин голосом подчеркнул последние слова и повернулся к Валентине, глядя на нее в упор. — Чем не муж, а, Валентина? Может, подумаешь? Жалеть не будешь.

С тонкой усмешкой на накрашенных губах смотрела Валентина на Цыганкова, как глядят на забавную, но ненужную игрушку, и легкое презрение различалось в ее задумчивых глазах.

— Это Колька-то не пьет? — прыснула Колобихина. — Ой, бабы, держите меня! Да он просто не просыхает!

Брагин посмотрел на Колобихину и уко-

ризенно покачал тяжелой, породистой головой.

— Чего ты мелешь? Раньше за ним бывало. Да. — Поднял указательный палец и покачал им в воздухе. — Было до нашего звена. Когда он у нас еще не работал. А теперь вы его выпивши не увидите. Конечно, там в праздник или в выходной если и примет стопку — так это не грех. Какой праздник, если он сухой? А чтобы на людях кто увидел его выпивши сверх меры — это извините. Так я говорю, Николай Ильич?

— Четко! — Цыганков рубанул ладонью. — Все верно!

— Видели? У нас в звене порядка строгие. — И снова повернулся к Валентине. — Не прогадай, девка. Потом жалеть будешь.

— Да вы вроде сватать приехали? — удивилась Евдокия. — Вон, оказывается, в чем дело.

— А почему бы не посватать? — улыбался Брагин. — Чем мы не сваты? Отчего бы нашим звеньям не породниться? Как говорится, наш жених, ваша невеста. Как ты на это, Евдокия Никитична?

Евдокия пожала плечами.

— Тут моей власти нет, Алексей Петрович. Приказать я ей не могу. Как сама скажет.

— От силы до полочки продержится ваш жених, — крикнула Нинша.

Брагин сразу же и обернулся к ней, словно ждал этих слов.

— Значит, так. Кто из вас увидит его выпивши — скажите мне. И я уйду из звеньевых. Сразу!

— Не боишься рисковать-то? — спросила Евдокия.

— Я без работы не останусь. В крайнем случае к вам трактористом попрошусь. Примете, нет?

— На кой ты нам нужен! — отмахнулась Колобихина.

— Неужто не возьмете, а, Никитична? — смеялся Брагин.

— А зачем? Наладчик у нас есть, а больше не надо. Звено у нас женское. Без вашего брата обойдемся.

— Смотри, Николай Ильич, что делается! — с показной обидой Брагин покачал головой. — Какие нынче женщины самостоятельные стали. Мужчины им не нужны. Может, они скоро совсем без нас обходиться будут? К этому все и идет? Вот жизнь наступит! Бабы по работе сами будут управляться, а нас заставят детишек рожать!

— Придет время — и заставим, — со смешком поддакнула Евдокия.

— Ну-у, у тебя-то, Никитична, не заржа-

веет. Ты-то скорее всех заставишь. Поди, и дома сверху?

— А ты приди, посмотри!

Степан, молча стоявший поодаль, выплюнул окурок и отошел еще дальше.

— Да-а, — крикнул Брагин, — языкастые. Тут мы с вами соревноваться не сможем. Забудьте.

— Да мы и на поле забьем! — крикнула Колобихина. — Хоть в галстуках и туфельках пашите!

— Не рано ли хвастаете?

— Не рано! Осенью увидите!

— А что, если мы победим? Отдадите тогда за Николая Ильича свою Валентину? Как, Валентина, пойдешь?

Валентина лениво улыбнулась:

— В другой раз.

— Что так? Или жених не глянется? Или уж совсем без нас решили обходиться?

— Да уж как-нибудь перебьюсь.

— Видишь, Алексей Петрович, не желает она его, — Евдокия с улыбкой развела руками. — Не получается сватовства.

— Да я сам ее не возьму! — дурашливо крикнул Цыганков. — Сам в чистом, а жена в мазуте! Я уж поищу кого из конторских. Там есть молодые, чистенькие!

— Ну вот и иди к чистеньким! — накинулась на него Колобихина. — Чего к грязным-то привязался?

— Кто привязался? Я, что ли? Шибко нужны! — Цыганков отступил на шаг и презрительно сплюнул.

— Не обессудь, Алексей Петрович, — с показным сочувствием сказала Евдокия, — насильно мил не будешь.

Брагин тоже с нарочитой тяжестью вздохнул:

— Да-а, тут мы промахнулись... Что ж, плакать не будем. Переживем как-нибудь. А все же породниться с вашим звеном надежды не теряем. Мы ведь настырные, Никитична. Подождем маленько да с другого бока заход сделаем.

— Это с какого такого другого? — настрожилась Евдокия, заметив хитрый прищур Брагина.

— Найдем с какого. С тылу ударим... Да ты не пугайся, Никитична. Худого ничего не будет. Не хотите Николая Ильича, другого жениха представим. Чем плох мой сын? — Брагин ладонью показал на Сашку. — Гляди, какой боец! В армии танкистом был. Тракторист классный. Кто о нем плохое слово скажет?

— Отец... — Сашка недовольно поморщился.

— А ты молчи, — строго глянул на него

Брагин. Кивнул Евдокии на сына. — Что скажешь?

— Что я скажу... Хороший парень, слов нет. Да только для Валентины-то, однако, молод будет.

— Валентину мы пока оставим в покое, — проговорил Брагин. — Для другого раза, как она сказала.

Евдокия повернулась к Галке:

— Уж не тебя ли сватают?

— Да нет... — Брагин хитро усмехался глазами. — Мы к тебе, Евдокия Никитична, клинья подбиваем. У тебя — дочь, у меня — сын. Глядишь, и породнимся, а?

Сашка вспыхнул, гневно глянул на отца, рванул было уйти, но отец крепко взял его за локоть.

Колобихина, Галка, да и Валентина, — притихли, глядели на звеньевую. Если это шутки, Брагины далеко зашли.

Евдокия помолчала, приходя в себя от неожиданности. Заговорила тихо, придушенно:

— Вот что, Алексей Петрович... Я пошутить тоже люблю. Но — меру знай. Мою дочь ты не трогай. Она к тебе никакого касательства не имеет. Понял?

— А я и не шучу. Шутки позади остались. Осенью сватов пришлем. По-настоящему, честь честью.

— От ворот поворот дадим.

— Не торопись, Никитична, не торопись, — тихо произнес Брагин.

— Давай-ка, Алексей Петрович, кончим этот разговор, — перебила Евдокия. — Вы отработались, а нам еще пахать да пахать. Так что извини! — и, круто повернувшись, пошла к своему трактору.

— Мы к этому еще вернемся! — крикнул вслед Брагин.

Евдокия не ответила, наматывала на маховик пускача сыромятный ремешок, но руки не слушались ее, пальцы срывались.

Брагины постояли, полезли в машину, и вскоре «Жигули» в сопровождении мотоцикла уже пылили в сторону Налобихи.

Евдокия запустила трактор, в раздумье постояла у капота. И принесла же нелегкая этих гостей на поле. Все настроение испортили. Вечно-то Брагины мучили Налобиху. Никогда не знаешь, чего от них ждать, какого колена. Вот и терзайся...

К Брагиным у Евдокии была стойкая неприязнь от рассказов отца. Еще в то далекое время, когда старик Брагин сказал на деревенском сходе, что, дескать, я — сам по себе, а власти — сами по себе, мужики задумались над его словами. Догадывались, что Брагин еще и не то скажет. И сказал. Со своими сыновьями он опохал двенадцать деся-

тин земли. Три десятины засеяли пшеницей, а остальную землю оставили про запас. Далеко вперед смотрел старик Брагин. Знал: года через три поле истощится, его бросят, оставят залежью и займут новое. Благо, угождая наперед застолблены. И пока Тырышкины с помощью родни справили новую лошадь, земель свободных в округе уже не осталось. Хоть плачь, а паши свои обесплодившиеся две десятины. Брагин Тырышкину и сказал: «А не зевай, Фомка, на то и ярмарка». Началась война с Японией, многих мужиков из Налобихи послали на фронт, а Брагиных эта беда не коснулась. Ни одного сына не взяли. Поговаривали в деревне: откупились. Им было чем откупиться: крепко жили. В четырнадцатом, на германскую, одного, правда, забили, но он через год тайно появился в Налобихе и прятался в колках, когда наезжало начальство. Так и перебился до семнадцатого года. В конце октября Горев привез из города большевистскую газету «Голос труда» и зачитал на сходе подробную телеграмму о победе революции.

«Советская власть, — рассказывал Горев, — пока есть в городе, но скоро будет и у нас. Я заходил в Совет, и товарищи мне объяснили, что старым властям подчиняться больше не надо. Скоро к нам приедут уполномоченные. Они проведут митинг и помогут выбрать сельский Совет, который и будет править Налобихой».

«А надолго эта власть-то новая?» — спросил Брагин.

«Навсегда», — ответил ему Горев.

«Не знаю, не знаю. Подождать бы нам с уполномоченными-то. Как бы потом не пожалеть. Я вот что думаю. Живут старожилы в урманах безо всяких властей и горя не знают. Есть у нас сход — вот и вся власть. А другой нам не надо».

Сход зашумел, загалдел. Брагин переждал шум.

«В общем, предлагаю никого сюда не пускать. Никаких уполномоченных. Сами мол разберемся!»

«Значит, своим сходом жить?» — вопрошали из толпы.

«Своим. Мы сами себе — держава!»

А утром налобихинцы увидели, что деревню опоясывает черная вспаханная полоса, очеркивающая деревню от поля, от скрытого березовыми колками Раздольного, от всего на свете. И два свежевоструганных столба стояли с намазанными дегтем косыми полосами. Граница и только! Часовых не хватало.

Озадаченно глядели мужики на вспаханную полосу и на столбы, догадывались, чьих

рук это дело, и скребли в затылках: так и до беды недалеко. Караул они отказывались выставлять, не осмелились на это и сами Брагины. И, как видно, правильно сделали. Вскоре приехали из города военные люди выбирать сельский Совет. Председателем выдвинули Горева, а членами Совета — Леднева, Тырышкина, Колобихина и Аржанова.

Брагины, хотя и присутствовали на сходе, промолчали. Ненадолго затихли. Когда в Налобихе стали создавать коммуну, Брагин открыто не высказался против нее, он только против Горева высказался, и то неопределенно. Дескать, хлебнет коммуна горя с таким председателем. У него-де и фамилия от горя идет — Горев. Ненадежная фамилия. Сказал в шутку, всерьез ли — не разберешь.

На том пока и дело кончилось. Коммунары объединились, стали работать сообща. Брагины остались жить наособицу, и их не трогали, не до них было.

Время стояло тревожное. По Сибири шли белогвардейцы, белочехи и поляки. В городе вспыхнул белый мятеж, и поговаривали, что Советская власть доживает последние дни. Газет не было никаких, налобихинцы в город ездить опасались, от городского Совета не приезжал больше никто, вестей не слали, и по деревне ходили слухи один другого страшнее. Говорили, что всю власть взял адмирал Колчак, что он разбил в горах красный партизанский отряд и теперь Советов больше нет.

И вот однажды в Налобиху прискакали трое верховых в форме старой армии: молодой поручик с тонкими усиками на бледном лице и два солдата с карабинами.

Собрали сход. Поручик не ругал мужиков, не корил за то, что допустили у себя выборный Совет. Он объяснил, что устанавливается правильный порядок и налобихинцам нужно избрать старосту, потому что Совет и коммуна ликвидируются.

Мужики высказались за Горева.

«Вот как? — удивился поручик. — Ведь он же был председателем Совета и коммуны! Впрочем, дело ваше. Пускай старостой будет Горев, раз желаете. Только завтра вы должны отправить в город продовольствие и фураж для доблестной армии Верховного Правителя. По десять пудов пшеницы с каждого двора. Ну, а остальное вот по этому списку. — И он показал свернутую трубочкой бумагу. — Продовольствие сдадите в главный штаб. Там вам выдадут расписку. Если к концу недели требуемое не поступит, накажем вашего старосту прямо здесь, на площади, — и поручик тонким пальцем показал на землю. — Вопросы будут?»

Брагины стояли тут же, на сходе.

«Так это... господин...» — начал Брагин нетвердо.

«Господин поручик — надо говорить».

«Так, господин поручик, — покорным голосом спрашивал Брагин. — Ну, вот пошлем мы вам продовольствие. А потом как?»

«Потом мы дадим твердый налог. Когда наша власть окрепнет. А пока вы должны усиленно помогать нашей армии очищать Сибирь от большевистской заразы».

«Это понятно, — гнул свое Брагин, — а после что будет? Я к тому, что если бы мы вам налог, какой скажете, а вы бы нас самостоятельной деревней считали. Ну, вроде как сами по себе».

«Анархизм проповедуете! Не допустим!»

«Да какой анархизм... Мы мужики неграмотные...» — испугался Брагин, уже не зная, как выпутаться.

Поручик погрозил ему пальцем.

«В списке значится: подготовить людей для мобилизации. Тут я у вас вижу много парней. Пора и им послужить святому делу, нечего за материны подолы цепляться. И предупреждаю: время военное. Кто уклонится от поставок продовольствия или от службы, будет наказан по закону военного времени. Вам все ясно?» — спросил поручик Брагина.

«Все ясно, господин поручик. Мы — понятливые».

«Рад слышать», — усмехнулся тот в тонкие усики.

Тут же, на сходе, составили списки тех, кто подлежит мобилизации в колчаковскую армию. Список поручик спрятал в накладной карман гимнастерки, копию отдал Гореву для исполнения.

Когда новые власти уехали, Горев с сыновьями стали собираться в дорогу — в забскую тайгу, где они намеревались прибиться к партизанам, и тут прибежал старик Леднев и рассказал, что за деревней колчаков кто-то обстрелял. Двоих, поручика и солдата, убили, другой солдат, раненный, ускакал прочь.

«Не видел, кто стрелял-то?»

«Не видел. Из под яра кто-то».

Уже когда Горевы переплыли на лодке реку и углубились в тайгу, на тропе поджидал их Брагин с сыновьями. У одного из сыновей была перевязана голова, и сквозь повязку проступала кровь. Был он бледный, братья поддерживали его под руки.

«Здорово, староста», — приветствовал Брагин Гореву.

«Здорово, — отвечал Горев. — Далеко путь держите?»

«Где омота поглубже. А вы?»

«К партизанам. Твои парни колчаков-то побили?»

«Не знаю, — ухмыльнулся Брагин. — Может, мои, а может, и нет. А что?»

«Да ничего. Сожгут солдаты деревню».

«Не сожгут. Кто знает, что наши напали?»

«Ну дай бог».

«Слушай, Горев, — задумчиво проговорил Брагин, когда Горевы хотели двинуться дальше. — Давай-ка отойдем в сторонку да потолкуем. А парни пускай посидят, друг на дружку поглядят».

Отошли, сели на замшелую колодину.

«Вот как оно вышло, — заговорил Брагин. — Разные мы с тобой люди, а оба от властей бежим. Не сподручнее ли нам вместе счастье-то искать? Уйдем в урманы к кержакам, избы срубим, зверовать станем. Вместе-то нас, почитай, девять мужиков будет. Никто не одолеет такую артель, никакой варнак. Власти до нас не скоро доберутся, а и доберутся — отмахнемся. Не впервой... Так что как ни крути, а одна у нас с тобой дорожка».

«Ой, одна ли...» — тихонько засмеялся Горев.

«Одна. Что тебя колчаки встренут, что меня — расстрел».

«Это так, но мы ведь с ребятами не от Советской власти бежим, а наоборот — к ней. Прогоним колчаков — домой воротимся».

Брагин нахмурился.

«Колчак не Колчак, какая разница? Ты — крестьянин, мужик. Любая власть норовит мужику на загорбок сесть. Кормилец-то он один. Все власти одинаковые, только масти у них разные».

«Нет, не все».

«Не желаешь, значит, артельно?»

«Разные у нас дороги».

«Ну, гляди-и-и... — протянул тот со вздохом. — Гляди-и, Горев. Я ведь хотел как лучше».

На том и разошлись. И только в двадцатом вернулись Горевы в Налобиху. Сам Горев получил ранение в бою под знаменитым партизанским селом Солоновкой, поболел недолго и умер. Схоронили его сыновья на деревенском погосте, на высоком обском берегу. Один сын вскоре уехал воевать с Врангелем и белополяками, другой ранен был в руку, остался дома и возглавил вновь созданную коммуну. Звали его Кузьма Иванович. А через год воротились и Брагины. Не ужились что-то с кержаками. В коммуну они не вступили, стали по-прежнему обживаться на отшибе. Дома их колчаковцы все-таки сожгли, и Брагины ставили новые. И едва отстроились, едва

дымы пошли из труб, как старик Брагин умер, ненадолго пережив Горева. Похоронили его рядом с Горевым, хотя Кузьма Иванович остался этим недоволен. Они-то с братом над могилой отца звезду прикрепили, а теперь, рядом со звездой, маячил брагинский крест.

А Брагины жили дальше. Пахали и засеивали единоличный клин земли. Лошади у них появились, скот. Видать, не без денег воротились из тайги, было на что покупать. И вскоре поднялись, разбогатели. К тому времени в Налобихе появился колхоз, куда вошли все коммунары. Брагины не вступали, держались наособицу. Пшеницы государству сдавали мало, поторговывали на стороне, и когда в двадцать девятом стали составлять списки кулаков — их туда первыми внесли. Уплыли Брагины не по своей воле на барже в Нарым новые места обживать, дикие, гибельные. Много лет не было о них слышно, а в середине лета сорок пятого опять объявились в Налобихе. Приехали на худых лошаденках: В телегах жены да ребятишки, оборванные, голодные. Но у мужиков — ордена и медали на линялых гимнастерках — воевали. Поправили осиротевшую было отцовскую могилку и пришли в правление колхоза — проситься в общество.

Посмотрел Кузьма Иванович документы, наградные бумаги — в порядке. Приняли Брагиных в колхоз. Дали им лесу на строительство и в помощь — плотников. Фронтовики все-таки, надо где-то жить, старые их дома оказались занятыми. Снова стали Брагины строиться и обживаться. Работали в колхозе крепко, никакой работы не чурались. С техникой в колхозе было худо. Три колесных трактора кое-как бегали по полям, а три стояли сломанные, износившиеся. Вот Брагины и предложили Гореву: давай, может, отремонтируем. Из трех собрали два. Горев подумал-подумал: «Ну что же, коли сделали, работайте на них».

Сели Брагины на тракторы. Машины сохранили в порядке, да и сами безотказные, что ни скажешь — сделают безропотно. Чего еще надо? В первое время Гореву советовали очень-то не доверять им. Все-таки Брагины бывшие кулаки.

«Так-то оно так, — отвечал Кузьма Иванович, — да ведь позади у них Нарым и война. Пускай живут, мы не злопамятные».

И Евдокия тоже понимала, что и наказания они, и награды на войне зря не давали, а все же оставалось в душе что-то такое — самой непонятное. Будто от отца передалось.

Она вела загонку, думая о Брагиных и чутко прислушиваясь к грохоту тракторов,

идуших следом. Она всегда слышала и различала даже кожей лица, руками, каждой жилкой, будто сидел в ней неусыпный сторож, чтобы стеречь сплетение тракторных голосов, а ее освободить от того, дать ей подумать о другом. Нехорошо ей было. Приезд неожиданных гостей нарушил установившийся в душе порядок. И подумалось Евдокии, что это, наверное, сказываются ее годы — все больше и больше тянется она к спокойному, ровному течению жизни; резкие перемены раздражают ее, долго не дают прийти в себя. Надо думать, и к тракторному грохоту можно приспособиться только потому, что он ровный, даже убаюкивающий, а начини мотор капризничать, сбиваться — и хоть плачь. Нет, разные рывки ей уже не под силу. Не молоденькая...

А сзади из хора железных глоток тракторов выбыл один голос. И хотя до нее не дошло, что же там такое случилось за спиной, а рука, опережая неповоротливые мысли, метнулась к рычажку газа, и трактор, высоко качнув капотом, замер на бурой стерне.

Евдокия ступила на гусеницу, поглядела назад.

Стояли уже все машины, слабо паря радиаторами. К Галкиному трактору торопливо бежала красивая Валентина, придерживая рукой платок на голове. Туда же трусила по пахоте и Колобихина.

У Евдокии кольнуло под сердцем. Спрыгнув с гусеницы, проваливаясь сапогами в землю, она кинулась к Галкиному трактору, работающему на малых оборотах.

Галка сидела в кабине белая, как стенка, расслабленно откинувшись на жесткую спинку сиденья, уронив на колени руки. Увидев перед собой звеньевую, улыбнулась ей обескровленными губами виновато и растерянно.

— Ты что это, девка? — спросила Евдокия, замирая от нехорошего предчувствия. — Что с тобой?

— Не можется ей, — жестяным голосом ответила за Галку Валентина, сузив на звеньевую длинные, подкрашенные глаза.

Евдокия тяжело глянула на нее, но ничего не сказала, снова обернулась к притихшей Галке.

— Вот что, девка, — проговорила она мягко, — глуши-ка ты мотор да вылазь.

Галка терла грязной ладошкой повлажневшие глаза. Короткая косичка, выбившись из-под платка, упала ей на плечо. Бантик из розовой капроновой ленточки был на конце косички — вплетен в нее. Странно он смотрелся на серой от пыли телогрейке, словно бабочка, залетевшая сюда, в эту железную,

подрагивающую клетку кабины. Увидела Евдокия этот бантик, и защипало сухие глаза.

— Вылазь помаленьку, — вздохнула, — какой уж из тебя нынче работник. — Помогла ей спуститься на землю, обняла за плечи, погладила шершавой рукой бледную, испачканную перегоревшим машинным маслом щеку девушки. — Милая ты моя... Сама-то до деревни дойдешь? Ступай, отлежись. Мы уж тут как-нибудь выкрутимся. Иди, милая, иди, — и легонько подталкивала ее в спину.

Галка подняла виноватые, мокрые глаза, но и звеньевая, и Валентина с Колобихиной смотрели на нее с жалостью, с пониманием, разрешающе кивали головами, и она, сгорбившись, низко опустив голову, потихоньку пошла по перепаханному Бабьему полю к далеким крышам Налобихи.

## 5

Евдокия открыла глаза, но некоторое время еще лежала без движения и, глядя в потолок, размытый серыми сумерками, гадала: утро или вечер? Эта ранняя запыленная весна все сбила со своих привычных мест, все позапутала. Скоро светлый день от ночи отличать разучишься. Она ложилась спать и после обеда, и в полночь. Просыпаясь, долго приходила в себя, силясь угадать время суток, хотя это и не имело особого значения, потому что когда бы она ни проснулась, впереди у нее одно-единственное: идти на поле, к трактору, к своему звену.

Голова со сна еще тяжелая и мысли вялые, полусонные, однако Евдокия все же вспомнила, что всем звеном они решили устроить себе отдых — не сеять в этот день. Немного до конца осталось, а без отдыха не дотянуть. Выдохлись бабы. Постников, а с ним Евдокия заранее посоветовалась, согласился:

«Выходной так выходной. Но давай так: вечером в клубе соберем молодежь, ты и выступишь. Чтoб день впустую не пропал, а?»

Согласилась. И вот — отдых. Впрочем, какой отдых? С трактора да в свое хозяйство, из огня да в полымя. За полторы недели у них дома накопилось уйма больших и малых дел, требующих женских рук и женского догляда, без которых, видно, нигде не обойтись: ни в поле, ни дома. И женщины должны переделать накопившиеся домашние дела, а потом отключиться от них еще на несколько дней, бывая дома лишь урывками, чтобы поесть, поспать и снова уйти. Скорее бы уж отсеяться, тогда бабы отоспятся вволю. Отоспятся... Евдокия мысленно усмехнулась. Не очень-то в деревне разоспишься. Отсеешься,

а там и сенокос на носу, днюй и ночуй на лугах. Сено поставишь, глядь, а уж и комбайны надо к жатве готовить, потому что лето быстротечно, жатва подоспеет — оглянуться не даст. Уборочную завершишь, еще и отпраздновать как следует не отпразднуешь — пора зябь поднимать, потом — снегозадержание, и опять готовь тракторы и другую технику к весне, к будущему севу. Вот какой круговорот получается. Нет у него ни начала, ни конца, и всегда-то одна страда будет тянуть за собой другую, чередуясь в завещенном природой порядке, а порядок этот — вечный. У пахаря над головой чаще бывает небо, чем крыша родного дома. Такая уж у него судьба. И не надо на нее сетовать. Да она на судьбу и не сетует. Просто подумалось без всякого сожаления, что ей выпала именно эта судьба, а не другая. Каждому — своя, единственная.

Сегодня Евдокия была довольна: одолели вместе с Юлией стирку — и за это наградила себя: прилегла после обеда подремать, заpastись силами впрок. Думала, полежит часик-полтора да и встанет, а уж и смеркаться вроде начинает. Нечего разлеживаться, надо подниматься — у нее осталось еще одно: пойти в клуб, агитировать девок на трактор. Вот еще забота... Пообещала ведь Постникову.

«Твою бы жену на трактор. Протряслась бы, а то поперек себя толще», — подумала с неожиданной злостью.

Морщась от покальваний в поясице, поднялась с дивана. В комнате и на кухне — пусто. Ни Степана, ни Юлии не видать. Куда ж они подевались? И, накинув платок, вышла на крыльцо.

Там, возле крыльца, на лавочке, сидели Степан с Коржовым и о чем-то негромко разговаривали. Иван Иванович Коржов — мужик пожилой, всегда серьезный, неулыбчивый, работал в колхозе главным механиком. Три года назад переехал он в Налобиху из города со своей многочисленной семьей — у него было четверо детей: трое сыновей и дочь. Дочь Маша уже пединститут закончила, работала в школе, здесь и замуж за Леднева вышла, а парни еще учились: один в седьмом, другой в восьмом, третий в девятом. Коржов частенько приходил к Степану, и они подолгу вели беседы. Вот и теперь сидели они, видать, давненько: много окурков у ног валялось. Повернули к Евдокии головы, прервали свой разговор.

— Поднялась? — спросил Степан равнодушным, без живинки, голосом, лишь бы что-то сказать, как-то отозваться на ее появление. Неловко не замечать жену при чужом человеке.



Евдокия не ответила, зевнула, присела на ступеньку.

Угасающий день был теплым и тихим, ветерок едва поддувал из степи, но ласково, не поднимая пыли. Сжалась погода над Налобихой, обошла заморозками. Вот уж скоро и сев закончится, а теплынь как стояла, так и стоит. Хорошо, если бы ведро подольше продержалось, чтобы и всходы, когда они проклюнутся, не погубило заморозками. А потом чтоб теплые благодатные дожди упали на землю и всходы бы дружно пошли в рост, да чтоб, главное, ветры, как в прошлые годы, не подули из казахстанских степей. А то вон край неба что-то очень уж красный, прямо пламенеет весь. Не ветры ли собираются, легкие на помине? Они пострашнее любых заморозков, любой засухи. Заморозок он лишь одни семена погубит. Пересеять можно в крайнем случае, и если зерно не вызреет, то хоть зеленка скоту будет. Засуха то же самое: не даст хлеба, то хоть соломки на подстилку скоту оставит. Ветер не оставит ничего, все семена вместе с землей выдует, унесет. И не только на этот год лишит урожая, а и на будущие годы. После себя он оставит мертвую, неродящую землю, да уж и не земля это будет, а невесть что. Как то самое Мертвое поле, лежащее по соседству с Бабьим.

Евдокия вздохнула: круглый год ни телу, ни душе покоя нет. Вечно ожидай да переживай за погоду. И чтобы отвлечься от тревожных дум, прислушалась к разговору мужиков.

— Это которая вездеход, что ли? — спрашивал Степан Коржова.

— Ну автомобиль «Нива», для сельской местности.

— Слышал. И что?

— Ты бы хотел такую?

Степан смущенно улыбнулся:

— Оно бы неплохо.

— А куда бы ты на ней ездил? — Коржов весь так и напряжился и даже, кажется, дышать перестал, чтобы не пропустить ответ.

— На ей куда хошь можно. У нее проходимость будет.

— Это понятно, что проходимость, — гнул свое Коржов. — А куда все-таки ездил бы? Ты ведь не рыбак, не охотник.

— Будто кроме как на рыбалку да на охоту ездить некуда, — усмехнулся Степан. — В город бы ездили.

— Во! В город! — Коржов с радостью вскинул вверх указательный палец, и его костлявые щеки порозовели от возбуждения. — А куда в город? Там много разных мест. Может, в театр?

— По театрам я как-то не шибко...

— На базар? — легким голосом спросил Коржов.

— Можно и на базар.

— Во! Наконец-то! — Иван Иванович снова вскинул палец и с торжественностью подержал его перед Степаном. — Все правильно!

— Да ты чего обрадовался-то? — удивился Степан.

— А то! В газете про «Ниву» написано, что этот автомобиль, дескать, создан для того, чтобы труженик сельского хозяйства, то есть ты, — ткнул в Степана пальцем, — в осеннюю бездорожицу или зимой мог легко попасть к подъезду городского театра. — Коржов проговорил это торжественно, держа перед глазами ладонь, будто читая невидимую статейку, а закончив, с облегчением перевел дух. — Вот что там написано. Я когда прочитал это, подумал, что не к театру колхозники поедут, а к базару. Там ему интересно больше. Так-то...

Степан развел руками:

— Ну и что? Плохо, если я на базар поеду?

— Да нет, что ты, что ты! Наоборот — хорошо. Если ты мяса на базар не привезешь, где я его, работяга, куплю? В магазине им сколь лет не торгуют, на заводе дают редко, по праздникам. На тебя, на родного, вся надежда. Езди на здоровье.

— Непонятный ты мужик, — проговорил Степан. — Все у тебя с подковыркой. Чем я виноватый? Что свое продаю?

— Что три шкуры дерешь, — сказал Коржов в сторону.

— А ты поддержи эту скотину — сам не рад будешь, — озлился Степан. — Три шкуры... Я вот на поле горб наломал, а домой пришел да заместо того, чтоб отдохнуть, за сеном поехал. Сено перекидал на крышу, потом стайку чистил, подстилку менял. Три шкуры... Если б я не работал, только по базарам бы ездил — другое дело. А тут не только в театр, телевизор посмотреть некогда.

— Да я понимаю, — сказал Коржов, — трудно скотину держать. Это как двойная работа получается: и на поле, и дома. Зато на базар приехал и берешь за мясо сколь хошь. По четыре с полтиной, по пять рублей за килограмм ломишь. А я хоть плачь, а денежки тебе отдай. Мне пацанов кормить надо. Без мяса они дохлые вырастут. И вот, Степан, какая штука получается. Ты с меня, с работяги, сколь хочешь, столько и дерешь, а я с тобой ничего не могу поделывать. По-твоему, это правильно?

— Дак не бери, если дорого.

— Это ваш обычный ответ. Не бери... У нас кто продает, тот и сверху. Вот, скажем, захотел ты купить эту «Ниву». Разводишь скотину — пару коров, бычка, пару свиней, овечек штук пять. Куриц — я тех уж не считаю. Урабатываешься на двух работах, зато знаешь: будет машина. А мне как быть, если машину захочу? От станка совсем не отходить? Так на заводе-то по сменам. Кончилась смена — иди домой, на твое место другой встанет, ему тоже надо заработать... Почему я к вам переехал? Потому, что здесь с моей оравой прожить легче. Овощи — свои. Надо мяса — выписал по рубль семьдесят. Или скотину держи — мясо свое будет.

— Постой, — сказал Степан. — Ты вот теперь тоже деревенский. Корову с телкой взял, пару свиней держишь. Интересно мне, повезешь ты мясо продавать или нет? К холодам, скажем?

Коржов пожал плечами.

— Придется, видно...

— А почему ты его будешь продавать? По рубль семьдесят? Или как все на базаре? Три шкуры будешь драть? Ну-ка, скажи.

— Не в этом дело, Степан.

— Как это не в этом? Ты гляди на него! На базаре свое возьмет, а еще рассуждает! К чему ты клонишь?

— Мне за работягу обидно. Все-то в деревню не уедут. Кому-то надо и на заводе работать. Технику делать. Для таких вот, как мы с тобой. Комбайны, сеялки разные... Я, когда в городе жил, куркулями называл, которые мясом торгуют. А теперь сам куркулем стал. Вот какой поворот вышел.

— Дак, значит, и меня ты тоже куркулем считаешь. Считаешь ведь? Считаешь. Только сказать неловко. Ну тогда я тебе вот что скажу: раз я — куркуль, то твой работяга — лодырь, больше никто, — с запальчивостью говорил Степан. — Он в пять вечера с работы пришел да на диван-кроватьи полеживает, телевизор посматривает. Никаких больше забот. Вода холодная и горячая — в кранах, печку топить не надо — батареи. А я и за водой сходи, и дров на зиму припаси — везде сам. Вот так-то!

Мужики отвернулись друг от друга, замолчали. Шарили по карманам, ища папиросы, и закурили каждый из своей пачки.

Евдокия усмехнулась:

— Договорились наконец-то. Один куркуль, другой лодырь. Совсем хорошо, — и поднялась, разминая затекшие ноги.

— Постой, Евдокия Никитична, — сказал Коржов. — Ты возле большого начальства бываешь и вообще... Кто из нас прав?

— Я думаю, где-то посерединке правда. А к какому краю, к твоему или Степанову, ближе — крепко подумать надо. Да не нашими головами, а которые поумнее. — Вопросительно поглядела на мужа. — Где у нас Юлия? Не знаешь?

— А тебе зачем? В клуб взять хочешь?

— В клуб.

— Без нее сходишь, — сказал, как отрезал. И отвернулся.

Евдокия изумленно посмотрела на мужа. На языке зашевелились злые слова, но при чужом человеке ругаться было неловко. Судорожно перевела дух и помолчала несколько секунд, остывая.

— Степан, — заговорила она спокойнее, стараясь придать голосу как можно больше убедительности, затушевывая неожиданную при постороннем человеке грубость мужа. — Худо получится. Скажут: других пришла уговаривать, а свою дочь даже в клуб не привела. Как обо мне люди-то подумают?

— Не знаю, как о тебе подумают, а Юлию с тобой не пушу.

Коржов поднялся, с неловкостью кивнул и пошел прочь. Понимал: тут не до него. Не до его правды.

— Радуйся, что раньше не переехал! — крикнул ему вслед Степан. — А то бы и твою дочь на трактор сосватали! Вот какие мы тут куркули!

— Не стыдно при человеке-то? — спросила Евдокия, когда Коржов ушел. — Не мог подождать?

— А чего мне стыдиться? Мне стыдиться нечего. Я худого ничего не сказал. Наоборот, своей дочери только добра желаю, не как некоторые матери. Я ей советую поступать в особое училище, а ты пихаешь ее на трактор.

— Куда поступать? В какое особое училище? — с удивлением протянула Евдокия.

— А в это, как его... в училище художественных ремесел.

— Где ж оно есть такое?

— В городе. Я узнавал.

— Значит, ты ей советуешь. А я вроде как в стороне? Спасибо.

— На здоровье, — тотчас отозвался Степан.

— Все-таки где Юлия? — спросила Евдокия.

— Не знаю. Да и знал бы — не сказал.

Евдокия постояла на крыльце и, вздохнув, пошла в дом — переодеваться. Надо было идти на вечер молодежи, будь он неладен...

Скоро она появилась на крыльце в темном строгом костюме, в котором обычно ходила на торжественные собрания. Низкое солнце высветило на груди орден «Знак По-

чета» и медаль «За блестящий труд». На лацкане горячим пятнышком алел флажок депутата. В этом парадном костюме она всегда чувствовала себя строже и подтянутее, даже морщины, кажется, подбирались сами собой и выражение лица становилось другим — начальственным и важным.

Степан молча глядел на жену снизу вверх, и она, перехватив его присмиривший взгляд, мысленно усмехнулась. Будь она десять минут назад перед Степаном в парадном костюме, не посмел бы с нею так разговаривать. Конечно, он и до этого знал, кто она и что она, но когда одета по-домашнему — одно, а когда награды и знаки отличия на груди — другое впечатление. Вот что одежда делает с человеком. Евдокия и прежде замечала не раз: зайдет в правление в своем обычном механизаторском одеянии — с ней люди разговаривают просто, как равные с равной, а стоит вот так, как сейчас, одеться — и все уже по-другому. И слова-то подбирают аккуратные, соответствующие ее положению, да и Евдокия чувствует себя стесненнее: лишний раз не рассмеется, не расслабится в крепком слове, будто эта одежда и эти награды стесняют слова и поступки. А ведь так оно и есть. Отчего это?

Быстрым шагом спустилась Евдокия с крыльца и, не глядя на примолкшего мужа, двинулась к клубу.

Возле клуба гремела музыка из ведерного динамика на столбе, нагнетая праздничную атмосферу. У дверей толпились нарядные парни и девушки, а в сторонке, на робко зеленеющей лужайке, сидели мужики и пили пиво, разливая его в кружки из трехлитровых стеклянных банок. Много их тут сидело компаниями. Во время сева в магазин ничего спиртного не завозили, так они теперь заливали жажду пивом, радуясь нежданному празднику. На стене, где вывешивались афиши кинофильмов, виднелась ярко намаляванная вывеска: тематический вечер молодежи: «Я — твой пахарь, земля родная». Беседы, игры, аттракционы. До и после танцы.

Евдокия протиснулась в вестибюль. Там стоял шум и гвалт — мужики штурмовали буфетную стойку. Пенные кружки плыли над головами, трехлитровые банки.

В комнате заведующего клубом ее ждали председатель с партгором, тоже одетые по-парадному.

— Широко разгулялись, — неодобрительно кивнула Евдокия в сторону буфета. — Как бы в разнос не пошли.

— Особо-то не с чего, — рассмеялся Постников. — Две бочки беды не наделают. Пусть народ отдохнет.

— Тебе виднее. Только вот для мужиков пива подвезли, постарались, будто для них все это устроено. Надо было выбросить какой-нибудь женский дефицит.

Постников заговорщически подмигнул:

— После беседы в зале будем продавать сапожки, кофточки, разную косметику. Для тех, кто запишется на курсы. По списку. Так что не волнуйся, все учли.

— Тогда нормально... — Евдокия вышла в вестибюль, оглядывалась по сторонам, искала глазами Юлию, но не находила. Она искала ее и позже, когда уже сидела за столом президиума посерединке между Постниковым и Ледневым, и не могла понять: где же сейчас могла быть ее Юлия? Куда она подевалась? Вся молодежь была в клубе, больше ведь и пойти некуда, как только сюда. Не прячет же ее Степан дома. Терялась в догадках. Леднев тоже внимательно глядел в зал, может, тоже высматривал Юлию, но Евдокию о дочери не спросил.

Евдокия часто выступала перед людьми. Где она только ни выходила на трибуну: и у себя, в Налобихе, и в райцентре Раздольном, и в краевом центре, и в Москве. Она знала, раз ее просят рассказать о себе, значит, это людям надо, и к выступлениям относилась как к работе: добросовестно и бережно. Начинала она обычно издали, с сорок второго года, когда впервые села на трактор. Рассказывала, как вместе с другими женщинами выращивала хлеб для фронта, потом переходила к своему теперешнему звену. Но сейчас она должна не только рассказать о своей работе, но и призвать девчат на трактор. И хотя Евдокию нынче что-то останавливало призывать девчат, все-таки она это сделала.

Едва Евдокия села, тут же поднялся Постников.

— Перед вами только что выступила наша знаменитая, всеми уважаемая Евдокия Никитична Тырышкина. Она рассказала вам о почетном труде механизатора. Мы, товарищи, собираемся открыть курсы у себя в Налобихе. Будем готовить механизаторов широкого профиля. Так что милости просим записываться! Может, у кого вопросы есть? Ко мне или к Евдокии Никитичне, не стесняйтесь — спрашивайте. Кстати, Евдокия Никитична, какие у вас заработки в звене?

— Двести—двести пятьдесят, — сказала Евдокия, не вставая.

— Вот видите! — говорил в зал Постников. — На такую зарплату можно одеваться по последней моде. Муж не упрекнет деньгами.

В зале засмеялись:

— Тут почти все незамужние!

— Ну так будете замужними! — весело крикнул Постников. — При такой зарплате и женихи сразу найдутся! — Он улыбался и был доволен, что зал настроен легко, весело, значит, дело будет. — Еще вам должен сказать, товарищи, что хлебороб у нас — самый уважаемый человек, особенно, если это женщина. Им все в первую очередь: и квартиры, и места в детский садик, и лучшие товары. После этой беседы будущие хлеборобы смогут приобрести импортные сапожки и другие дефицитные товары. Потребсоюз пошел нам навстречу, так что будете с обновой!

Евдокия слушала председателя и смотрела в зал, переводя глаза с одного ряда на другой, надеясь: вдруг да увидит Юлию, и вздрогнула — с края третьего ряда на нее глядела красивая Валентина. Сначала даже не поверила самой себе. Может, показалось? Пригляделась внимательнее и устало откинулась на спинку стула. Точно: она самая, никто другой. Явилась... А зачем Валентина тут, для какой надобности? Беседу пришла послушать? И так настроение было невеселое, а при виде Валентины совсем испортилось. Она торопливо, словно обжегшись, опустила глаза, но даже кожей щеки чувствовала на себе пристальный Валентинин взгляд, от него нельзя было спрятаться на этом открытом, видном со всех сторон лобном месте.

— У вас что, вопрос? — услышала Евдокия председательский голос, от которого вдруг упало сердце, и заметила: Постников смотрит туда же, на край третьего ряда. Там Валентина высоко тянула руку.

— К Тырышкиной вопрос. Можно?

— Пожалуйста! — председатель недоуменно пожал плечами, дескать, чего бы ради пришла сюда задавать вопросы своей звеньевой. Могла бы и в другом месте спросить, что тебя интересует. Уловил в этом непонятный вызов Тырышкиной, но рот Валентине не зажмешь. Раз тянет руку, будь добр, дай слово.

Евдокия напряглась, искоса наблюдая, как Валентина, поправив цветастую косынку, поднималась со своего места.

— Вот вы только что призывали девчат на трактор! — громко заговорила Валентина. — А своей дочери вы тоже советуете в механизаторы? Или ей другую работу подыщете? В городе?

В зале стало очень тихо. Сотни глаз уперлись в Евдокию. Ждали: что она ответит? Постников повернулся к Евдокии, глядел на нее с какой-то опаской. Леднев замер, будто оцепенел, но вдруг поднялся со своего стула.

— Товарищи, — сказал он с укоризной, — так нельзя.

— Почему нельзя? — кричали из зала. — Нам интересно, что Евдокия Никитична советует своей дочери! Тоже в механизаторы или нет?

Леднев ждал, пока все утихнут. Он заговорил, подбирая слова с трудом, отставляя их далеко одно от другого. Ему, наверное, было трудно сейчас.

— Когда Евдокия Никитична призывала девушек... в механизаторы, это совсем не значило, что должны идти все подряд. Совсем нет, товарищи. Иначе что же у нас получится? Кто будет работать в библиотеке? В детском садике? В столовой? В школе? Есть же чисто женские специальности. И вообще есть места, где заменить женщин мужчинами невозможно. Я это вам говорю потому, что нельзя, — он покосился на Постникова, — впадать в крайности. Поймите меня правильно. На мой взгляд, в механизаторы должны идти те девушки, у которых есть тяга к технике. И позволяет здоровье, физическое развитие. А не все подряд... Ну, а что касается вашего вопроса, — он прямо взглянул на Валентину, — то я его, извините, считаю неуместным. Таких подковырок Евдокия Никитична не заслужила. Дай, как говорится, бог, чтобы мы с вами столько сделали для народа, сколько сделала она.

Валентина села пристыженно. Отбрил ее Леднев, отбрил как надо, но от этого не легче. Тяжелые руки Евдокии лежали на красной материи стола, они были горячи и подрагивали. Тяжесть стыда придавила Евдокию к стулу, больно и стыдно поднять глаза на людей. Никогда такого с ней не было.

А в зале было тихо. Люди ждали именно ее слов, ничьих других, и Евдокия медленно встала.

— Вот тут меня спросили... советую дочери или нет, — заговорила Евдокия глуховатым, будто зажатым изнутри и выдавливаемым по каплям голосом. — Ну, а раз спросили — отвечу. Да. Советую. Хочется мне, чтобы моя дочь продолжила мое дело. Стала бы хлеборобом. А поручиться за нее, — с виноватой улыбкой развела руками, — не могу. Может, будет по-моему, а может, и нет.

— Как звеньевая советуете? Или как мать? — выкрикнула опять Валентина, не вставая и не спрашиваясь. Торопливо выкрикнула, боялась, что перебьют.

— Советую как звеньевая. И как мать, если уж на то пошло... — громко проговорила Евдокия.

Постников вскинул голову.

— Еще вопросы есть?

Теперь Евдокии можно было задавать любые вопросы, она ничего больше не боя-

лась. Валентина вынудила ее сказать то, против чего душа противилась.

Она не слышала благодарностей председателя, вышла из клуба и, помедлив возле дверей, давая глазам привыкнуть к темноте, побрела домой. За спиной гремела музыка — начались танцы. Пускай веселятся молодые. А ведь солгала им сегодня Евдокия, ох, как солгала! Ведь она не хотела этих слов. Зачем она их сказала? Путаница какая-то в голове, а ведь еще не так давно все было ясно. Да, она действительно хотела, чтобы Юлия пришла в женское звено, продолжила дело матери. Умом она и теперь этого хочет. А сердцем? Что-то поколебалось в ней, сомнение точит. Вернуть бы последние свои слова, да не воротись.

Она опечалилась и поглядела в небо, где тлели звезды. Резковатый ветер налетал на степи, холодил лицо, выдувал из души последнее тепло. Горько ей стало и холодно. И домой придет — никто не согреет ее теплым, участливым словом.

Позади послышались торопливые шаги. Кто-то догонял ее, и Евдокия, отступив в сторону, вглядывалась в маячивший во тьме силуэт, пока еще не ясный, но на слух определила: женские шажки, нетвердые, словно кто-то спешил в туфельках на высоких каблуках. Уж не Юлька ли? Нет, походку дочери она знала.

— Ой, кто это? — испуганно позвала Евдокия, видя, что спешащий человек направляется прямо к ней.

— Не ждала такую попутчицу? — голос был сбит быстрой ходьбой, звучал прерывисто, но Евдокия узнала: Валентина.

— Ты, что ли? — строго спросила Евдокия, пытаясь разглядеть молочно проступающее во тьме лицо.

— Ну я, — усмехнулась Валентина, шумно, прерывисто дыша. Она, наверное, бегом догоняла ее.

— Чего тебе? — сухо поинтересовалась Евдокия.

— Поговорить охота.

— В клубе не наговорила? — Евдокия резко повернулась и пошла дальше, но Валентина не отставала.

— Значит, не наговорила. Там с тобой много не наговоришь. Защитнички рта не дают раскрыть.

Евдокия не отвечала, шагала молча.

— Дочки твоей на вечере что-то не видать было, — начала Валентина вкрадчиво, будто подбиралась к чему-то.

— Какое тебе дело? — оборвала Евдокия, но внутренне сжалась, уловив в голосе Валентины припрятанное до поры жало. Сейчас

Валька ужалит, не зря она начала этот разговор про Юлию, не зря. — Чего ты за чужих детей цепляешься? Своих нарожай да и цепляйся. Ходишь, как телка неогуленная, да злобствуешь. Изозлилась вся.

— Это точно, — согласилась Валентина. — Злости во мне ой как много! На весь век хватит... Вот ты говоришь: за чужих детей. А у меня сердце кровью обливается, когда вижу, как ты чужих девчонок агитируешь, а свою бережешь. Даже в клуб не привела. Конечно, чего ей в клубе делать? Она занятие слаще нашла. Поглядела бы ты, как она с Сашкой Брагиным к березнику шла. Так вся и прильнула к нему...

Под сердцем у Евдокии кольнуло, она схватилась рукой за грудь, но не остановилась, только на миг как бы ослепла и шла на ощупь, с трудом переставляя ноги. Не оборвала Валентину, поверила ей. Та врать не станет, это Евдокия знала наверняка. Да еще вспомнила странный разговор Брагина-отца. И еще раз поверила: правда. Все сходится.

— Так вся и прильнула к нему... — смакуя каждое слово, повторила Валентина, раздосадованная, что звеньевая никак не откликается, будто речь идет не о ее родной дочери. Помолчала и добавила зло: — Поди, и сейчас еще в березнике милуются.

— А ты и позавидовала, — ехидно усмехнулась Евдокия и сказала с сочувствующим вздохом: — Мужика бы тебе. Чтоб за другими не подглядывала. Завистью изошла.

— Да я не подглядывала, — быстро сказала Валентина. — С чего ты взяла? — Но даже в сумерках заметно было: смутилась она. И Евдокия поняла: уязвила она Валентину. Тоже в больное место угодила. Каково тебе? Больно? Вот так-то... Но радости от мести не почувствовала. Горько было.

— Слушай, Валька, — начала Евдокия спокойно, стараясь заглушить в себе горечь и злость, но та перебила:

— Валька на базаре семечками торгует.

Евдокия остановилась, вплотную приблизилась к Валентине, стараясь заглянуть ей в глаза.

— За что ты меня ненавидишь? — спросила в упор. — Чего я тебе худого сделала? Когда я тебе дорогу перешла?

Валентина дышала тяжело и часто слгтывала слюну. Она больше не перебивала звеньевую, смотрела на нее темными, остановившимися глазами и будто собиралась с силами.

— Зачем ты меня все время подкальываешь? — с болью говорила Евдокия. — Может, я когда обидела тебя и сама не замети-

ла? Так ты скажи, чтоб ясность была. А то клюешь меня, а за что — ума не дам.

— Ты помнишь, какая Галка тот раз в кабине сидела? — спросила Валентина тихо. И сама ответила: — Помнишь. Когда я еще сказала, что мол пора и твоей Юльке на трактор.

— И что? — спросила Евдокия настороженно.

— А то, что не зря я тебя тот раз поддела. Задумалась ты о своей дочери, открылись глаза. Сегодня на вечере как змея под вилами крутилась. Не завидовала я тебе.

— Ты вот что: выбирай выражения! — раздраженно проговорила Евдокия. — Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Ты же девочка против меня! — По-доброму, надо бы повернуться и уйти от этой нахалки, но Евдокия не ушла. Что-то мешало уйти.

— Обиделась? — легонько рассмеялась Валентина. — Против шерсти погладили? Отвыкла от такого обращения? Кто дал право, говоришь? Есть у меня такое право, есть... Ты сама мне его дала.

— Ну, объясни, что за право, — сказала Евдокия. — Интересно мне.

— Малость попозже. Потерпи. Поговорим уж, раз случилось. Давно я хотела с тобой вот так, с глазу на глаз. Много разных слов к тебе накопилось. Я вот приглядываюсь к тебе и понять не могу. Прямо загадка, а не человек. Ну вот хотя бы сегодня... Как ты после всего, после Галки то есть, могла сказать при всех, что советуешь своей дочери идти на трактор? Как у тебя язык повернулся? Или ты не женщина? Или у тебя сердца нет? Ведь ты же посоветовала как мать. Понимаешь, как мать! Одно дело — советует звеньевая Тырышкина, другое — мать!

— Ты вынудила, — захрипшим голосом проговорила Евдокия.

— Неправда! — крикнула Валентина. — Я тебя только спросила. А уж твое дело — ответить. Меня никто не вынудит соврать.

— Подожди, Валентина... — Евдокия хотела положить руку ей на плечо, но та отдернулась.

— Не прикасайся ко мне. Слышишь? Ты и меня когда-то сагитировала. Молодая была, глупая. На деньги да на славу позарилась. Тебе позавидовала. Как конь вкальвала. Все было ни о чем. На втором месяце ходила, а виду не показывала. Румянами мазалась, чтоб бледность скрыть. Звено боялась подвести. Ты даже не знаешь, что у меня мертвый ребенок родился. Никто не знает. И ни одна живая душа не знает, сколько слез я пролила. Был бы бог, он бы что-нибудь с тобой сделал за все мои слезы...

— Чего ж ты после этого не ушла с трактора? — хрипло спросила Евдокия. — Надо было уйти. Побережись.

— От чего мне было беречься? Помню, в город у тебя отпрашивалась. По поликлиникам бегала, на приеме у профессора была. Мне там ясно сказали: больше не жди. Не от чего мне было больше беречься, я и осталась. А куда деваться? Некуда...

Они стояли молча одна против другой, будто и слов у них больше не находилось. Холодный ветер стегал их лица. Валентина не поправляла растрепанные волосы, выбившиеся из-под косынки.

— У меня ведь тоже такое было... — заговорила наконец Евдокия. — Сыновья рождались, а не жили. Грудные помирали... Кого мне надо было проклинать, а, Валентина? Войну? Немца?

Валентина с горечью усмехнулась.

— Это другое было дело. Война... Ни с чем не считались. Тысячи гибли. Но сейчас-то не война. Неужели ты не понимаешь? Ну, понятно, если опять что начнется, сядем на тракторы. Научиться недолго. А пока-то ведь мир.

— Пока-то мир, — сказала Евдокия. — А не меня бы тебе надо проклинать. Все ту же войну, Валентина. Издали она тебя зацепила.

— Ну, ты это брось. Сколько лет прошло. Привыкли мы все на войну сваливать.

— Чего брось-то? Рождаемость-то после войны какая?

— Ладно. Хватит. Поговорили и будет. Война... Ты иди молодым это скажи. Они поверят. А мне уж скоро тридцать. Наслушалась... Знай, Никитична, на тебе мои слезы, ни на ком другом.

— Вот что, Валентина, — заговорила Евдокия трудным голосом, глядя себе под ноги. — Шла бы ты из моего звена.

— Гонишь? — с какой-то тайной радостью спросила та.

— Нет, не гоню... Только так лучше будет. И для тебя и для меня. Собирай себе новое звено и руководи. Трактористка ты опытная, сможешь. Хочешь, поговорю в правлении?

Валентина вдруг легко рассмеялась, так легко, непринужденно и искренне, что Евдокия удивленно уставилась на нее.

— Думаешь, я в звеньевые рвусь? Нет, совсем ты не поняла меня. И не подмазывайся. Поговорит она в правлении... Спасибо, да лучше я уж простой трактористкой останусь.

— В моем звене?

— В твоём.

— Значит, не хочешь уходить? А что тебя тут держит?

— Тебя понять хочу. Докопаться охота, какая ты есть на самом деле. Очень мне интересно.

— Ну, коли другой заботы нет, то давай. Изучай меня. Об одном предупреждаю. Не суй нос, куда не надо. Не лезь в мои личные дела. Будешь лезть — распрощаемся. Это я тебе очень даже капитально обещаю. Вот так!

Сказав это, Евдокия круто повернулась и скорым шагом пошла домой. Отойдя немного, остановилась и прислушалась. Сзади было тихо. Никаких шагов не слышать.

Домой Евдокия пришла совсем разбитой. В висках ломило, руки противно тряслись, все тело колотила нервная дрожь. После того, как отстала от нее Валентина, хотелось не думать о минувшем разговоре, успокоиться. Да разве теперь скоро успокоишься? До самого порога мысленно спорила с Валентиной, убеждала ее, жалела, что впопыхах забыла сказать ей то и это. Что толку, после драки-то?

Хлопнула входной дверью резче, чем надо, — она все еще жила разговором с Валентиной, и руки плохо слушались ее.

На кухне, возле плиты, торчал Степан, варил что-то. По-бабьи шаркал тапочками по полу. Он мельком глянул на красное, будто спекшееся лицо жены, отметил этим самым ее приход, но вдаваться в расспросы, по своему обыкновению, не стал.

— Ужинать будешь? — проговорил равнодушным, неживым голосом. Так спрашивают, когда не очень ждут ответа.

— Нет, — коротко бросила Евдокия, ощущая во рту горечь от высказанных и невысказанных Валентине слов. И огляделась, зорко вбирая в себя все, что было в доме. — Юлия вернулась?

Степан отрицательно помотал головой, даже словом не удостоив, и она тут же ушла в горницу, чтобы не видеть небритого, в колючей седоватой щетине мужнина лица, в котором ей чудилась тайная ухмылка. Степан не то, чтобы совсем не брился, он кое-как скоблил бороду раз в неделю, а то и реже, поэтому щетина на его хмуром лице держалась длинная, неряшливая, глаза бы не смотрели. Будто специально не брился — жене досадить.

Евдокия стояла перед зеркалом и разглядывала свое разгоряченное лицо. Давно уж по-настоящему не смотрелась в зеркало, зная: приятного она там мало увидит. Сейчас она подошла к зеркалу только затем, чтобы узнать, какой ее сейчас видел Степан и что он мог про нее подумать. Заметила грустные складки возле рта. Раньше они казались

не такими глубокими. А может, не замечала? Эх, Дуся, Дуся, быстро ты стареешь. Всю-то жизнь чертомелила ты, как лошадь, времени на себя не находилось, а теперь какая-то соплячка, без году неделя на тракторе, а упрекает ее черт-те в чем, говорит обидные слова, будто так и надо.

Она потерла шершавыми пальцами виски. Хватит думать про Вальку. У нее поважнее есть о чем переживать — о дочери. Где ж она есть-то? Неужто еще в березнике? Пойдет теперь по деревне слава. Стыд какой...

Непослушные пальцы расстегивали пуговицы жакетки, не могли никак расстегнуть, пуговицы выскальзывали, не зацепиться за них никак, словно намыленные. Она разнервничалась, зашпешила и вдруг вскрикнула от тонкой, пронзительной боли: острый конец булавки, которой крепилась на жакете медаль, уколола ее в грудь.

Евдокия закусил губу, испуганно оглянулась на дверь: не услышал ли Степан? Дверь оказалась приоткрытой, но на кухне — тихо. Нет, Степан ничего не слышал, а и услышит — не прибежит. Они давно глухи к боли друг друга.

Расстегнула-таки маленькую, верткую пуговицу и увидела на груди яркую капельку крови. Капля, как живая, наворачивалась, росла. Евдокия глядела на нее словно зачарованная. Боли она не ощущала, боль сразу же унялась, лишь глаза пощипывало. Резко зажмурилась и с силой потерла глаза, вдавливая назад невыплаканные слезы. Никто от нее слез не дождется.

Потом Евдокия разделась, выключила свет и легла. Закончился выходной. Завтра снова впрягаться в две смены. И — до конца сева. Гулко стучали ходики на стене, отсчитывая последние минуты суток. За стенкой осторожно шаркал тапочками Степан.

Она лежала, вспоминая прожитый день, перекладывая его в памяти с одного бока на другой, будто разглядывала со всех сторон, чтобы оценить его окончательно, а сама прислушивалась к беспокойным шорохам за стенкой и к себе самой, пока не услышала наконец-то, чего так ждала: внятно скрипнула входная дверь. Евдокия даже вздрогнула от неожиданности и задержала дыхание. Нет, не ошиблась. Дверь скрипнула и умолкла, и сразу же послышались мягкие, таящиеся шаги по коридору.

«Туфли в руках несет», — догадалась Евдокия. Она подождала, слыша, как дочь вошла в горницу, как поставила у кровати туфли, чуть стукнув каблучками об пол, как, раздеваясь, зашуршала платьем. И тут Евдокия встала и включила свет.

Юлия стояла перед ней в ночной рубашке до пят и смотрела на мать не испуганно и не растерянно, как можно было ожидать в ее положении, а с усмешливым удивлением.

— Который час? — жестко спросила Евдокия.

Юлия посмотрела на ходики, потом на мать.

— Двенадцать. А что?

— Как это что? Как это что? — Евдокию прямо-таки затрясло от негодования. — Ничего себе! Мать вся переволновалась, а она еще делает удивленное лицо! Еще и спрашивает, как ни в чем не бывало. Вырастила дочку, нечего сказать! Ты пойми, на дворе — полночь. Мне в шестом часу вставать на работу, а я тебя жду.

— Мама, но ведь я не ребенок. Я уже взрослая, — чуть улынулась Юлия. Спокойно повесила платье на плечики в шифоньер и опять повернулась к матери — высокая, гибкая, красивая. В лице — никакой вины и раскаяния, только уверенность в своей правоте. И еще — легкая взволнованность, отчего ее щеки порозовели, а глаза стали темны и глубоки. — И вообще я уже сама могу отвечать за свои поступки. Как-никак скоро школу закончу.

— Вот когда выйдешь замуж и будешь жить самостоятельно, тогда сама будешь отвечать за свои поступки, — перебила Евдокия, — а пока живешь с матерью, и будь добра отвечай, когда мать спрашивает. Где ты была?

— Гуляла.

— Где и с кем? — Евдокия стояла перед дочерью, глядела ей в рот, ловя каждое слово.

— Тебе это очень интересно? — Юлия с иронией скривила румяные губки и глядела на мать снисходительно.

— Мне про родную дочь все знать интересно. С кем ты гуляла? — Евдокия делала ударение на слове «с кем».

В дверь с тревогой заглянул Степан, обеспокоенно глядел то на жену, то на дочь. Раздумывал: вмешаться или нет.

— А ты уйди! Без тебя разберемся! Защитничек явился! — прикрикнула на него Евдокия, и Степан молча скрылся. Евдокия снова обернулась к дочери: — С кем ты гуляла, Юлия? С кем, я тебя спрашиваю?

— Ну с Сашей... с Брагиним, — проговорила Юлия, сильно покраснев, уводя глаза.

— В березнике были? — надломленным голосом спросила Евдокия, испытующе взирая на дочь, разглядывая ее по-особому внимательно, по-женски, как бы ища в ней что-то.

Лицо у Юлии стало совсем красным, как после бани. Она подняла глаза и выдержала долгий изучающий материн взгляд.

— А ты следила, что ли?

Евдокия возмущилась:

— Юлия, что это за разговор? Ты с кем разговариваешь? С матерью или с чужой теткой? Еще не хватало следить за тобой. Только и осталось. Люди мне про вас сказали. Видели, как вы в березник шли.

— Ну а раз сказали, чего спрашиваешь?

— Спрашиваю, правда это или нет. Чего же вы так гуляли, что на вас вся деревня любовалась? — Она сознательно сгустила краски, сказав «вся деревня». Злилась на дочь.

— А зачем нам прятаться? Мы не ворует.

Евдокия замолчала, растерянно уставясь в темные Юлькины глаза. И язык прикусила. Вон как: они не воруют. Сама-то со Степаном встречалась тайно, чтоб никто не видел. Почему? Стыда у людей было больше? Может, и совестливее были, да и исстари велось: встречаться парню с девушкой тайно, чтоб если и не выйдет свадьбы, так девушку не опорочить. А эти гуляют на виду и хоть бы хны. «Мы не ворует». Вот и весь сказ. То ли уж на самом деле жизнь повернулась новым боком и что раньше считалось неприличным, теперь это в порядке вещей?

Юлия разделась, легла, а Евдокия села на свою кровать и глядела на отвернувшуюся к стенке дочь. Поговорили, называется. Да это что же такое происходит-то? Кто лежит перед ней в постели, выставив матери спину? Ее кровиночка Юлька или совсем чужая взрослая девушка? И что теперь остается ей, матери, делать? Развести руками? Зареветь в голос? Ревь не реви; сама виновата. Мало бывала с дочерью, та и выросла сама по себе. Отец к ней и то ближе. А что отец? Он не передаст ей то, что может передать дочери одна лишь мать, никто больше. Только мать исподволь, капля по капле учит дочь уму-разуму, отдает то, что взяла когда-то от своей матери, а та — от бабки. Из самой глубины, не иссякая, переливается в молодую душу древняя мудрость, а теперь эта нить порвалась по се, Евдокииной, вине. Оттого и отдалилась от матери Юлия. А сознавать это — больно.

— Ты погоди, Юлия, не спи, — попросила Евдокия тихим, печальным голосом. — Давай поговорим. Не углядела, как ты и выросла. Прости уж меня, дочка. Поговорить с тобой толком не получалось. Все с людьми да с людьми. С тобой — урывками...

Юлия шевельнулась на кровати, дала знак — слушает.

— Скоро ты школу закончишь, — про-



должала Евдокия, — а куда пойдешь, ты мне не сказала. Не хочешь в звено — неволить не стану. Поступай как знаешь... Отец говорил, будто учиться в город собираешься? Правда, нет?

— Правда, — отозвалась дочь.

— Значит, с отцом решили, а меня даже не спросили? Не посоветовались? Мать для вас пустой звук, — обиженно говорила Евдокия. — Или ты меня уже и за мать не считаешь?

— Тебе же все некогда, — раздраженно отозвалась Юлия и повернулась к матери лицом. — У тебя же все разные дела. А ты хоть раз спросила, чего я хочу? Хоть раз интересовалась? У тебя один трактор на уме, больше ничего. А я не хочу! Понимаешь, не хочу на трактор! А ты толкаешь: иди и все! Династия... Все славы тебе мало. Еще хочется.

— Я хотела, чтоб тебе лучше было.

— Я сама знаю, как будет лучше.

Евдокия опустила голову, вздохнула, молчаливо винясь перед дочерью. Виновата, ничего не скажешь...

— На вышивальщицу решила? — спросила она после некоторого молчания и взглянула на дочь.

— На вышивальщицу, — с вызовом ответила Юлия. — А тебе не нравится? — и села на кровати, обхватив колени руками, с отчуждением глядя на мать темными глазами.

— Почему не нравится... — осторожно заговорила Евдокия. — Многие девушки вышивают. Только увлечение — это одно, а специальность для жизни — совсем другое.

Юлия иронически хмыкнула:

— По-твоему, вышивальщица — не специальность? Только механизатор — специальность? Ты хотела, чтобы я стала как ты? По твоим стопам пошла? Продолжать династию? Нет уж, мама, спасибо. У меня совсем другие планы.

— Зачем ты так, Юля? — мягко укорила Евдокия. — Наслушалась отца да и говоришь его словами. Я просто узнать хочу, серьезно ли ты подумала о своем выборе? Не поторопилась? Чтоб потом не жалеть. Выбор — дело ответственное.

— Не беспокойся. Серьезно подумала. А отец ни при чем, ты его не трогай. Он один меня понимает.

— Отец понимает, а я — нет?

— В том-то и дело, что не понимаешь. Ты даже ни одной моей вышивки сроду не смотрела.

— Как это не смотрела, — возразила Евдокия. — Смотрела. Там у тебя еще кони есть такие... с шестью ногами.

Юлия коротко рассмеялась.

— Только это и видела? С шестью ногами...

— Ну да, шестиногие. Я еще подивилась на них. Где это, думаю, моя дочка таких коней видела. В каком табуне?

— Эх, мама! — Юлия тряхнула головой, откидывая на сторону длинные, светлые волосы, вскочила с кровати, нашла вышивку и развернула ее перед матерью. — Гляди, видишь кони-то как скачут? А то, что ног много, так это всегда так кажется, когда кони бегут быстро. Ноги мельтешат перед глазами, и получается впечатление, что их больше, чем есть. Представляешь? В искусстве, мама, свои законы. Ты ведь не понимаешь...

— Где мне понять, — с обидой согласилась Евдокия. — Я училась мало. Время было такое — не до учебы. О куске хлеба думали, не об искусстве. В этом деле я — темная.

— Кто же виноват, что другое было время? — с раздражением перебила Юлия. — А время на месте не стоит. И теперь люди не только о хлебе думают. Так что, кроме тракториста, есть и другие специальности. В том числе и вышивальщица.

— Ладно, делай как знаешь, — махнула рукой Евдокия. — Тебе жить. Я свое плохо ли, хорошо ли, а отжила. Поступишь на вышивальщицу — помогать буду. Учись, раз есть стремление... — она говорила это, ясно понимая, что так сказала бы на ее месте любая мать и что душевного разговора все-таки не получилось. У каждой осталось недосказанное. Юлия ей отвечала, но в душу к себе мать не впускала, держала ее на расстоянии.

«Эх, Юлька, Юлька... — думала Евдокия с грустью. — Мало ты видела ласки от своей матери, мать твоя вся на людей растратилась, ничего тебе не оставила». Это немного утешило ее, но тут же поймала себя на мысли, что оправдывается сама перед собой, перекладывает вину на кого-то другого. На людей растратилась. Мысль красивая, да не совсем это так. Похоже на припасенное впрок утешение. Вспомнилось: иной раз захочется Евдокии приласкать дочь, сказать ей что-нибудь ласковое, а дойдет до дела — и слов не находится. Остановит ее какой-то особенный взгляд Юлии, недоверчивый и чуточку чужой. И слова в горле завянут нерожденные. Это случалось раньше, когда Юлька была еще мала, а теперь ей материны ласки, наверное, не шибко-то и нужны. Теперь у нее в голове другие ласки...

— Ну вот ты уедешь, а как же твой Бринг? — осторожно поинтересовалась Евдокия,

мягко так спросила, чтобы не вспугнуть дочь.

Юлия пожала плечиками.

— Подождет, пока вернусь.

— Любит, что ли? — еще спросила Евдокия, ободренная ответом.

— Да, мама, — смущенно ответила дочь и стала укладываться.

«А ты его?» — вертелось на языке, но побоялась спросить. Все, больше дочь ничего не скажет. Больно осознавать, но не было дружбы между нею и дочерью, не было откровенности. Ведь только сейчас, когда она, мать, пристала чуть ли не с ножом к горлу: скажи да скажи, Юлия и сказала про Сашку Брагина. А чтобы самой подойти к матери, поделиться с нею заветным, как должно вестись в хороших семьях, — этого от нее не дождешься. Вот ведь как вышло: от чужого человека про дочь узнала. Стыдобушка и только... «А ведь Степан-то знал, — ревниво подумала Евдокия, — все знал, да помалкивал. Жене — ни звука, будто это ее не касается. Ну ладно, это мы учтем...»

Утром Евдокия поднялась, когда Степан приготовил уже завтрак: сварил яиц, нарезал хлеба и желтоватого уже сала. Но Евдокия есть демонстративно отказалась, оделась и ушла на поле. И после, когда на поле пришел муж, она его старалась не замечать. Горючее было на исходе, сказала Колобихиной:

— Нинша, передай Степану, пусть за соляркой съездит.

— А сама чего не скажешь?

— Глаза бы не глядели. Видеть не могу.

Нинша покачала головой, отошла. Понимала, что подруга сильно не в духе, но спрашивать не стала. Вздохнула только.

Евдокия в это утро была молчалива. Не поговорила с женщинами перед сменой, не подбодрила по обыкновению. Влезла в кабину и махнула рукой, дескать, двинулись. Не сказала своего привычного: «Ну, бабы, поехали!» Работала молча, зло.

Два дня не замечала и не разговаривала с мужем. На третий день, в обед, к ней подошел Степан. Ели они теперь хотя и из одного котла, вернее, из большого алюминиевого термоса, который привозили из столовой на поле, но сидели поодаль друг от друга: чужие и только. Степан подошел к жене, глядел на нее, ждал, пока она обратит на него внимание.

— Чего тебе? — холодно спросила Евдокия, не отрываясь от еды.

— Ветер сильный, — сказал Степан.

Евдокия огляделась и словно проснулась. Ветер за последние дни и правда окреп, дул с юга сильный, ровный, и там, в южной стороне, небо было желтое от поднятой пыли.

— Я к тому говорю, что надо еще по одному катку цеплять к сеялкам, — хмуро продолжал Степан, — а то все выдует.

«А ведь и на самом деле выдует, — подумала испуганно Евдокия. — Чего же это я как слепая стала, ничего не вижу?» Злость глаза и уши затмила». Но пока молчала, оглядывая край неба, где наворачивалась ядовитая рыжая пелена, растворяя в себе весеннюю синь. Неприятно было, что мысль о дополнительных катках подавал Степан. Не хотелось с ним говорить, а придется. Дело — прежде всего. Не прицепишь сейчас вторые катки, дунет ветер покрепче, и землю вместе с семенами поднимет в воздух. Считай, все пропало. Это поняли и Нинша, и Валентина, и Галка. Подняли головы от мисок, выжидающе глядели на звеньевую.

Евдокия отложила ложку. Сказала Степану строго, будто выговаривая:

— Вот что. Гони на машинный двор. Тащи четыре катка.

— Если они там еще остались, — усомнилась Колобихина. — Поди, уже все разобрали.

— Кровь из носа, но чтобы четыре катка тут были, — снова сказала Евдокия и отвернулась от Степана, который тут же, не мешкая, направился к своему трактору.

«Наверное, Брагины утащили катки к себе, — со злостью подумала Евдокия. — Эти не обробеют».

Однако катки на машинном дворе были. Никто еще не успел додуматься, даже Брагины, и Степан благополучно притащил четыре катка. Быстро за каждой сеялкой прицепили по второму катку, и теперь, поглядывая в заднее стекло, Евдокия видела, что земля прикатывается лучше, не поднимать ее ветрам.

«Молодец, Степан», — подумала Евдокия и немного отмякла душой. Понимала, что ему тоже нелегко было к ней подойти, а все-таки подошел, пересилил себя ради дела. Ей захотелось быть с ним помягче. Она уже не отворачивалась при виде его, но слишком уж долго они молчали, слишком уж привыкли к таким отношениям, шли их жизни и дальше в стороне друг от друга по наезженной колее. Колея — пробитая, привычная, как трудно из нее выбраться. Не потому ли на вечере молодежи думала одно, а сказала другое, что не смогла выйти из своей колеи?

Колея... Ей вдруг отчетливо вспомнилось: года за два до войны взял ее отец с собою на луга. Недалеко от Налобихи Обь круто поворачивала на север, спрямляя путь к океану, и там, на изломе, быстрина переваливала на другую сторону реки. А на этой сторо-

не, при плавном, успокоенном течении, берег постепенно понижался и переходил в заливные луга. Каждую весну Обь затопляла луга своею глинистой полной водой и держала их затопленными долго. И лишь когда спадала коренная вода, луга обнажались, посверкивая глазками болот и озер. Солнце принималось отогревать вернувшуюся к свету сушу, и в считанные дни луга начинали ярко зеленеть. Травы, на корню избалованные влагой и теплом, быстро шли в рост. Здесь косили сено для колхозного скота, сюда выгоняли стадо на откорм, а по забочкам, возле болот и озер, где косилкой траву не взять, выделялись покосы колхозникам. Отец как раз и ехал посмотреть отведенный ему участок, чтобы прикинуть: начинать косить или подождать. Недавно прошли дожди, и старая дорога, разбитая еще в весеннюю распутицу, совсем раскисла. Колея была глубокая, темнела в ней стоялая вода, чавкали по грязи копыта Мухортухи, колхозной кобылы, выпрошенной отцом у бригадира. Бричка в колее сидела надежно. Отец вполне мог бросить вожжи и не править лошадей, потому что свернуть в сторону было невозможно, колея держала бричку с лошадью в своей власти непоколебимо, людям оставалось только довериться лошади и дороге, сидеть и ждать, когда привезут на место. Отец, однако, сидел беспокойно, косился на срез берега. Талые воды и дожди каждый год обрушивали и обрушивали берег, срез стал уж совсем близко от дороги, в нескольких метрах. Вот отец и поглядывал вбок, на близкий обрыв, под которым в гулкой пустоте искрилась река, а на другой стороне, будто в воздухе, висела синяя, размытая расстоянием полоска леса.

И не зря отец опасливо глядел на близкий срез, не зря умная Мухортуха чутко стригла ушами, переставляя ноги неохотно, словно чувствуя впереди неладное. И вдруг отец торопливо натянул вожжи и дрогнувшим голосом протянул:

«Кажись, прие-е-хали...»

Дуся выглянула из-за отцовской спины и увидела: впереди дорога напрямую поворачивала к обрыву, наезжала на самый край и там кончалась, как отрезанная. На краю обрыва предсмертно склонилась к пустоте совсем молоденькая березка, почти прутик, не нарастившая еще на стволике бересты. Она держалась на одном-единственном корешке, остальные — тонкие, бурые, как растопыренные пальцы, висели в воздухе и, казалось, пытались уцепиться за твердь. Листья била мелкая дрожь. Березка была еще и не там, под обрывом, но уже и не здесь — посеред-

ке между жизнью и смертью, потому что единственный корешок еле держался, его бурая мягкая кора от напряжения лопнула, сползла, как кожа, обнажив беззащитную белую, истекающую соками сердцевину.

Отец прыгнул с брички и ссадил дочь. Дуся отскочила подальше от обрыва и наблюдала, как отец, взяв Мухортуху под уздцы, тянул к себе, пытаясь свернуть с дороги, отвести от опасного места на расквашенную дождями целину. Лошадь заполошно била ногами, но бричка сидела в колее плотно, передние колеса увязли по ступицу, никак не поворачивались в сторону, да и сил у кобылы не доставало. Дуся глядела на это расширенными от ужаса глазами, и вдруг мурашки пробежали по спине: между ней и отцом, тянущим лошадь что есть сил из колеи, будто хрустнула веточка, и по земле поползла, зазмеилась черная, быстрая трещинка, разрывая вглуби корни трав и отсекая от нее отца вместе с лошадью и бричкой.

«Папка! Па-апка!!» — страшным голосом закричала Дуся, корчась от ужаса, видя, как быстро ползет и расширяется трещина, в которой утробно гудела разламывающаяся земля.

Отец быстро обернулся к дочери, лицо его было еще пока недоуменное, он еще не мог сообразить, отчего это дочь так страшно и отчаянно кричит, сжав кулачки возле рта и кусая их, но глаза ее смотрели вниз, к нему под ноги, словно увидела змею. Он увидел трещину, и лицо его перекосило, как от боли. В три прыжка отец одолел расстояние до дочери, схватил ее за руку и потащил подальше от ширящейся с каждым мгновением трещины, и когда снова хотел кинуться к лошади, Дуся вцепилась в рукав отца, повисла на нем. «Не пуцу, не надо, нет!» — кричала сорвавшимся голосом.

Они услышали, как тонко, пронзительно заржала Мухортуха, кося на людей белым глазом, — просила у них помощи. А люди ничем помочь не могли. Лошадь, видимо, ощутила, как дрогнула под нею земля, и ржанье ее перешло в надсадный хрип, с губ скатывались клочья пены. Она все понимала, умная старая лошадь, и в изнеможении била ногами, пытаясь вырвать бричку из колеи, и уже совсем обессилев, вытянув вперед длинную шею, оказавшуюся неправдоподобно длинной, тянулась и тянулась к замершим в оцепенении людям.

Земля разверзлась мгновенно, в ее тяжком глубинном грохоте потонул хрип Мухортухи. Задние колеса брички повело в сторону, под срез, и сразу же бричка встала на дыбы вместе с Мухортухой. Лошадь уже в

воздухе сучила передними ногами, не доставая до земли, и медленно сползала назад, пока не исчезла совсем, блеснув напоследок белым сумасшедшим глазом. Облако желтой глинистой пыли встало над берегом и, подхваченное ветром, поплыло за реку, медленно истаявая в безгрешной голубизне неба.

Отец остекленевшими глазами взирал на опустевший берег, губы его тряслись. А когда оцепенение прошло, потихоньку стал подвигаться вперед, щупая ногами землю перед собой. Страх и любопытство отпечатались на его посеревшем лице. Но дочь еще крепче вцепилась в него, обхватив его руками, зашлась в истошном крике:

«Папка, родненький, не ходи!»

Давно это было, очень давно. Вот уж и отца в живых нет, но и сейчас при этом воспоминании у Евдокии томительно сжалось сердце, и через время, словно бы сторонним ухом, услышала свой страшный, отчаянный крик. И подумалось, что в последнее время она все чаще и чаще вспоминает о случае с колеей. Вроде бы годами она отдаляется от того момента, должна вспоминать реже, а получается наоборот. Отчего так? Может, затем это живет в ее памяти, чтобы напомнить и упредить, пока еще далеко до обрыва? Ей издавна и непоколебимо верилось, что есть в мире какая-то сила, которая бережет все живое и не дает возвыситься злу. В земле ли самой, в березовых ли колках или в самом воздухе, но есть она, мудрая, справедливая сила, которая охраняет и ее, Евдокию. И теперь, зная, что не все у нее ладно, напоминает о колее, подает только ей одной понятный знак.

6

Евдокия простилась с Нишей и медленно шла одна. Как Ниша ни расспрашивала ее и как ни тяжело носить в себе неразделенную боль, а ничего подруге не рассказала ни о Юлии, ни о Степане — давно научилась молча переносить боль. Шла, согнувшись, глядя себе под ноги, будто что-то ища внизу, а лишь поровнялась с домами Брагиных, то и голову подняла, будто кто-то подтолкнул, и стала глядеть в их сторону. Не праздное любопытство заставляло ее повернуть туда голову, нет, она уже мыслями забежала вперед, к будущему сватовству.

Два брагинских дома стояли, как два брата: высокие, крепкие, под железными крышами. Крепко жили Брагины, ничего не скажешь, впрочем, где механизаторы худо живут? Главная сила в любой деревне. Евдокия хотела уже было отвести взгляд, да что-то

удержало. Сбоку, за крайним домом, увидела она свежий сруб, еще пока без крыши, с темными проемами вместо окон и дверей, но уже и так было ясно: строили с размахом, и когда будет готов этот третий дом, он ничем двум другим не уступит, такой же — крестовый.

«А ведь это они для Сашки, — екнуло сердце у Евдокии. — Для Сашки, вот для кого строят Брагины! Выходит, Алексей Петрович собрался отделить сына. Женить решил Брагин Сашку! Иначе зачем его отделять?» Она-то, мать, только-только узнала, что ее Юлия встречается с их сыном, а тут уж все давно решено. Поднимают дом для Сашки и его молодой жены. И ведь уверены, что свое обязательно возьмут.

Она вздохнула и зашагала быстрее. Понимала: ничего ей не изменить, что скорее всего так и будет, как замыслили Брагины. Евдокия скорым шагом миновала несколько переулков, и когда перед нею неожиданно открылся старый домик Горева, она остановилась, будто споткнулась о невидимую преграду. С неосознанной виной посмотрела на ветхое, сиротливое строение и вспомнила сыновей Горева, которые не вернулись с войны. Хорошие у него были сыновья, Евдокия их помнила: веселые, светловолосые в отца. Они погибли в первый год войны, и теперь на темной, потрескавшейся стене избы проступали три железные звезды, прибитые пионерами, — все, что осталось от сыновей.

Ноги сами повели Евдокию к калитке.

Полузаросшей дорожкой она прошла к крыльцу, постучала в дверь и прислушалась, пугаясь нежилой тишины.

«Вот так помрет когда-нибудь Кузьма Иванович, и никто не узнает», — подумалось Евдокии, но она отогнала от себя эту мысль. Как это: Кузьма Иванович и вдруг помрет? Такого быть не может. Горев — он вечный, без него Налобиху представить себе нельзя. Душа не соглашалась с тем, что Горев может когда-нибудь умереть, и толчками забило сердце, едва различила в сенях слабое движение, а потом шаркающие старческие шаги.

Заскрипев, отворилась дверь, и на пороге появился он, Кузьма Иванович, худой серебряный старик.

— Дуся, ты ли это? — удивленно проговорил Горев слабым, глухим голосом, легонько улыбаясь в бороду.

— Я, Кузьма Иваныч. Пришла вот попроведывать.

— Ну заходи, заходи, Дуся. Давненько я тебя не видел.

В горнице было сумеречно, но Евдокия

разглядела, что все там прибрано, чистенько и даже пол выскоблен. Пахло сухими травами, развешенными у печи и у порога. На столе — раскрытая книга, и на ней — очки. Видать, прибрался Кузьма Иванович и теперь читал. Над столом — старый портрет Ленина в красной самодельной рамке. Даже не портрет, а фотографический снимок первых дней революции, вырезанный из какого-то давнишнего журнала и вставленный в деревянную, покрашенную киноварью рамку. Портрет этот Евдокия видела у Горева еще в детстве и знала, что в памятные дни Кузьма Иванович украшает его полевыми цветами, а когда живых цветов нет, матерчатыми алыми розетками.

Горев аккуратно сдвинул книгу, усмехнулся виновато:

— Нынче сначала по книгам учатся, а потом живут. А у меня все наоборот. Жизнь прожил, а теперь понять хочу: так ли жил... — И спохватился: — Да ты садись, Дуся. Сколько ведь не была.

— Давненько, — согласилась Евдокия. — День-деньской крутишься и никак все дела не переделаешь. — Говорила и разглядывала Горева. Сдал Кузьма Иванович, сдал. Когда-то высокий и худощавый, стал ниже ростом и высох совсем, будто с годами оседал к земле вместе с домом. Костлявый и седой, в чем душа держится. Одни глаза и жили на его узком лице, глаза зоркие, все видящие и все знающие, от которых ничего в себе не утаишь.

И вдруг Евдокия снова почувствовала себя перед ним молодой, пятнадцатилетней, словно за порогом этого дома оставила остальные прожитые годы, и заробела перед мудрыми глазами старика.

— Все хотела заглянуть к вам, помочь чем-нибудь, да замотаюсь и забуду, — сказала с грустью.

— А чего обо мне заботиться? — отмахнулся Кузьма Иванович. — У тебя своих дел невпроворот. Ты ведь вон как высоко взлетела. И звеньевая, и депутат, и всяко-разно. Опять же — семья. Расскажи лучше, как живешь. Что-то ты невеселая. Задору не вижу.

— Какой уж там задор, — вздохнула Евдокия. — Был, да весь выкипел... Сев нынче больно ранний. Да еще этот ветер, будь он неладен. Прицепили по второму катку, по лучше вроде стало. Хотя и семена боязно сильно-то утрамбовывать. А ветры-то желтые, все небо желтое. Откуда они взялись? Раньше таких не было. Прямо страшно, что делается. Как дунет, дунет... землю сдирает и несет.

Горев смотрел в окно и хмурил седые, нависшие на глаза брови. Сочувственно качал головой. Потом сказал:

— Откуда, говоришь? А мы их сами посеяли. Сами, Дуся. Как только там, у соседей, — кивнул на южную стенку, — распыхали все земли в степи, так и началось. Да чего у соседей... Вон у нас взгорье не уберегли, а как его теперь называют? — и испытующе поглядел на Евдокию.

— Мертвое поле, — отозвалась та со вздохом.

— То-то и оно, что мертвое. Мы думали, если больше земель распашем, то и хлеба всегда будет больше. А вышло не по-нашему. У старых людей, которые тут до нас жили, земля была свежая, а лишнего хлебушка сроду не водилось. Это я хорошо помню. Голодом не сидели, но и пшеницу на базар не часто возили. Землица наша не шибко щедрая, но от урожая до урожая прокормит, обижаться на нее грех. И вот как туговато ни приходилось, а взгорье, которое теперь Мертвым полем зовется, не трогали, под плуг не пускали. Думаешь, глупее нас с тобой старики были? Нет, Дуся, нет, — Кузьма Иванович помотал седой головой. — Старики землю жалели. Там, на пригорке-то, родящий слой совсем тощий, а под ним гольный песок да глина. Соображали: распашут взгорье, ветер и начешет его, весь родящий слой подымет в воздух, а потом и глину с песком. Ветру только бы зацепиться за какую язвочку, он потом и до других земель доберется. И уж не земля будет, а сплошная язва. Не надо жадничать. Вот как старики-то думали. А мы? Шибко умными себя считаем. Что нам старики? Они ничего не понимали, остальные были. Даешь пригорки! А мы и рады стараться, нам только крики. Машины у нас, как звери. Любую землю распашут, будь она хоть железная. Ничто перед моторами не устоит. Да только я так думаю, Дуся: страшен трактор, если в нем тракторист без головы. Без соображения хозяйского. А земля хоть и терпеливая, а когда-то обидеться может. У нее память есть. Ничего она не забывает. Помнишь, какой урожай был в шестьдесят втором? — вздернул голову Горев.

Евдокия кивнула. Она помнила тот урожай. Когда распахали взгорье и все залежи, вырос в тот год урожай невиданный, каких в Налобихе и старики не помнили. В обычные годы брали по пятнадцать-семнадцать центнеров с гектара, а тут вышло за сорок на круг. Вот какое чудо совершилось всем на удивление. Радовались мужики, ликовало районное начальство, упрекало Горева, дескать, гляди, какая пшеница вымахала и сколько ее, а ты не хотел, упрямылся. Радость вскоре, однако, схлынула. Не готова оказалась Налобиха принять такой урожай. Не

хватало машин возить зерно от комбайнов на ток, и сами тока были слишком малы. Ссыпали зерно в бурты, а оно в буртах стало гореть, люди не успевали его перелопачивать. Прикаати районное начальство с представителем из партийно-государственного контроля. Гадали, как спасти хлеб? Возить в райцентр Раздольное на элеватор? Но и там захлебывались от большого хлеба. К тому же, машин нет. Тут Горев и предложил: давайте, пока не поздно, раздадим зерно колхозникам на сохранение. Не задаром, а так: берешь, к примеру, тонну, так вот центнер — тебе за труды, а остальные девять центнеров сдай весной государству под квитанцию. Кузьма Иванович доказывал, что это единственная возможность уберечь урожай, потому что крестьянин не даст зерну пропасть. Всю семью в ладнях заставит пересыпать и сушить, а не даст. На такую меру районное начальство не пошло, да и как пойдешь? Нарушение. День и ночь возили машины и подводы зерно на элеватор, и все равно не успевали. Сгорело-таки зерно в буртах. Прикаати комиссия, проверила. Составили акт, что зерно ни к чему не пригодно, и велели его сыпать под яр. В присутствии той же комиссии. И потянулись под-

воды к крутому обскому берегу. Вся Налобиха от мала до велика собралась поглядеть на неслыханное святотатство, как сбрасывали хлеб в реку. Мужики — шапки прочь, как на похоронах, старухи крестились. Старые люди не стыдились слез, помня войну и голод. Горестно качая головами, говорили: «Не будет нам прощенья за такой грех».

И пошли неурожай. А потом потянули с юга черные ветры, они бнстрехонько расправились с нагорьем: содрали с него и унесли родящий слой, а ближние, хорошие земли занесли песком и глиной.

«Это нам за тот грех», — говорили люди.

Да, Евдокия все помнила. И хотя понимала умом, что тот большой урожай не был никаким чудом, просто в тот год все было вовремя: и дожди угали когда надо, и тепло стояло без заморозков, но отчего-то с тех пор большого хлеба не случается. Земля по-прежнему родит, поля не бывают пустыми, и зерна хватает лишь на то, чтобы сдать положенное государству и засыпать семена. И все. А напоминанием о шестьдесят втором годе осталось Мертвое поле, высоко стоявшее над всеми остальными полями, как бы нарочно для того, чтобы отовсюду его было видно.

*Окончание следует.*

Электронная библиотека

Соколов Владимир Дмитриевич родился в Барнауле. Окончил Алтайский политехнический институт. Работает на Алтайском моторном заводе заместителем начальника цеха.

Член литературной студии при Алтайской писательской организации.

Стихи публиковались в альманахе «Алтай» и краевых газетах.



## Владимир СОКОЛОВ

### В ИЮЛЕ

Гроза гремела,  
но прохлады  
своим дождем не принесла.  
Ушли лиловые громады  
за край пустынного села.

И пахли травы иступленно,  
и млели сосны, не дыша,  
и в обессилившее лоно  
пушинкой  
падала душа.

Был ясным день.  
Был небосвод высоким.  
Районный «газик» лез на перевал.  
Цвела погода облачком веселым,  
и желтый лист в забвенье уплывал.

Дорога уже делалась и строже.  
Все меньше воли было колесу.  
Ползла шеренга столбиков дорожных.  
За ними речка пенилась внизу.

Шутил шофер, грозя судьбе неясной,  
и вдруг на всем ходу затормозил.  
Из-под колес взлетел тяжелый ястреб  
и круглыми  
глазами  
погрозил.

В глазах — самоуверенная сила,  
в когтях одно желание — напасть.

В какой-то миг  
природа оценила  
стальную  
человеческую власть...

### МГНОВЕНЬЕ

Свет в окне.  
Окно, как рама.  
В раме  
женщина  
из мрамора.  
Только мрамор удивительный  
дышит жизнью ослепительной,  
излучается улыбкою,  
и ладошка белой рыбкою  
в кудри мягко углубляется,  
в черном пламени купается...  
Свет погас,  
унес мгновение,  
оставляя вдохновение,  
но останется ли в вечности  
совершенство быстротечности!

Острова Прибылова  
и остров Святого Матвея,  
а среди Алеутских  
Андреяновские острова...  
Я читаю на карте,  
читаю  
и вдруг холодею:  
где не бывала мужичья  
России сорви-голова!

Теплых баб оставляя  
в короткой любви безутешными,  
в царство белых медведей,  
к полярным чертям на рога  
уходили, глазами блеснув,  
незабвенные дежневы  
расширять  
и России  
и душам своим  
берега...

### СТАРЫЙ ВОЛК

Снежный наст  
обледенел, посекался.  
Лапы чутко хрупают по льду.  
Старый волк  
в деревню поволокся  
за добычей —  
добывать еду.  
Дряхлость стала опыту помехой.

С голоду качаются клыки.  
А прореху не заткнешь прорехой —  
прожитые годы нележки...  
В старческой слезе оплыли звезды,  
дрожь ерошит вздыбленную шерсть,  
а деревня  
сытным духом в ноздри  
залетает...  
В ней пожива есть.  
И когда велением азарта  
налетят лоснящиеся псы,  
смерть придет. Но  
нынче, а не завтра  
будет волк свежатиною сыт.

## ОКНА

Фронтовики  
с победой возвращались.  
По лагушкам  
ярился самогон.  
Счастливым светом  
окна освещались,  
и отступался дух  
лихих времен.  
У прясел  
в поцелуях гасли речи,  
с погона вяло падала рука...  
Не прорывались  
возгласы и встречи,  
как рядом протекавшая река...  
Но сколько окон,  
сколько ярких окон  
мне говорили только об одном...  
Хранит их память  
свято и жестоко  
и до сих пор от них  
в глазах темно...

На языке любви невнятном  
я рассуждаю сам с собой:  
как мне остаться деликатным  
с неделикатною судьбой!  
Она, превратная, любима  
и рода женского притом,  
и посему неотвратимо  
своим орудует перстом.  
Визжат резиной повороты,  
мотор чихает под дождем,  
но, не ссылаясь на расчеты,  
мы с ней всегда чего-то ждем.  
Прорвется мокрая дорога  
в неопределяемую синь,  
и счастья весело и много  
вберет сердечная теплынь...

## ПУБЛИЦИСТИКА

Е. ШЛЕЙ

# ЗЕМНОЕ ЭХО СОЛНЕЧНЫХ БУРЬ

...Осуществлять дальнейшую разработку методов прогнозирования погоды и стихийных бедствий...

*Из материалов XXV съезда КПСС*

Существует ли наука о погоде? Не правда ли, навязный вопрос. Есть у нас Гидрометцентр с его филиалами во всех краях и областях страны. Есть и спутники, дающие информацию с околоземной орбиты. В стране два института, где готовят метеорологов, — это в Одессе и Ленинграде. Множество различных станций, следящих за погодой, имеются и за рубежом.

Но сколько раз мы были свидетелями таких совпадений, когда по радио говорят о ясной и безоблачной погоде, а в это время за окном неистово хлещет дождь. Таких накладок, к сожалению, еще немало. Особенно досадно, когда видишь слабость Гидрометеослужбы в деле долгосрочного прогнозирования погоды. И хотя метеорологи дают сводки с оговоркой, что это предположение, но шансы на совпадение порою равны нулю.

Вспомните лето 1972 года. Жесточайшая засуха нависла над европейской частью территории Советского Союза. Горел хлеб. Горели болота. Миллионы кустов плодово-ягодных культур и фруктовых деревьев засохли. От недостатка влаги трескалась земля.

Что же касается Западной Европы, то здесь так же свежи впечатления от минувшей засухи. Но настоящая трагедия постигла африканский континент. Над семьдесятю процентами жителей Африки нависла реальная угроза гибели. И если мы с вами раскроем августовский-сентябрьский номер журнала «Курьер» за 1973 год, то перед нами раскроется страшная картина, запечатлевшая эту трагедию: высохшие колодцы, черные поля, тысячи голов крупного рогатого скота, погибающего от голода.

Все это заставляет нас спросить: неужели нельзя было предотвратить трагедию? На этот вопрос мы ответим позже, а пока освежим впечатления зимы 1978—1979 годов. Помните, какие холода пришли в Европу в третьей декаде декабря? Сколько хлопот доставили морозы не только москвичам, но и... Читаем газету «Известия» от 20 декабря. В заметке «Париж без электричества» сообщается: «Вчера, 19 декабря, три четверти территории Франции на несколько часов оказались без света. Виновником этого чрезвычайного происшествия оказался Дед Мороз. Сильное похолодание вызвало резкий расход электроэнергии, а тут еще в восточной части страны вышла из строя магистральная линия высокого напряжения. Эффект был драматичен. Прекратили работу многие заводы и фабрики. Париж, Леон,



Марсель — эти крупные города остались без электроэнергии. В столице остановилось движение метрополитена. На вокзалах и в пути замерли электропоезда, на улице погасли огни светофоров. Ущерб равняется четырём миллиардам франков».

В первом и втором случаях Гидрометцентр давал долгосрочный прогноз, предсказывающий благоприятную погоду. И лишь два человека предсказали надвигающуюся беду. Это Таисия Васильевна Покровская из Ленинграда и Анатолий Витальевич Дьяков — начальник гелиометрической обсерватории Кузбасса имени Камиля Фламариона. О Дьякове и о его науке пойдет речь в предлагаемом материале.

Прежде всего следует сказать, что Дьякову не пришлось «открывать Америки». Он сумел суммировать учения многих выдающихся ученых прошлого и нынешнего столетий и на базе полученных знаний и многолетних наблюдений за деятельностью Солнца составлял свои прогнозы. Его предсказания совпадают на 85—95 процентов, в то время как Гидрометцентр официально признает реальность своих прогнозов на две трети.

## СОЛНЦЕ ДЬЯКОВА

В детстве он отличался от своих сверстников непомерной усидчивостью и любовью к книгам. И вот, когда в библиотеке было прочитано все, включая и фантастику, попала ему в руки популярная астрономия французского ученого XIX века Камиля Фламариона. В ней Дьяков впервые встретился с описанием многих звезд. Но больше всего поразило высказывание ученого, что солнце, заинтересовавшее его светило, влияет на земную атмосферу.

С того времени и по сей день Анатолий Витальевич навсегда верен культуре Солнца. Оно захватило его полностью. А сам Камиль Фламарион стал для него человеком, по жизни которого он стал сверять свою. Портрет французского ученого висит у него над рабочим столом. Своего среднего сына он назвал Камилем, да и обсерваторию, как вы успели заметить, также назвал именем Камиля Фламариона. И это не просто слепая любовь. Это доскональное изучение его трудов и та масса восторгов и согласий, которые испытывает он при чтении каждой строки его трудов. Как точна каждая фраза! Какая работа мысли и ответственность перед людьми, перед своей совестью вложены в каждое слово!

С тех пор Дьяков всецело увлекся Солнцем и астрономией. И хотя позже были прочитаны многочисленные труды ученых Генриха Клейна, Вильгельма Мейера, Михаила Ломоносова, Швабе, Кемпена и многих других, Фламарион остался для него как первая любовь. Ему посвящает он свои доклады и выступления на всемирных и всесоюзных симпозиумах ученых, а также в печати.

Пятьдесят лет назад Дьяков еще не знал, на какой трудный жизненный путь он обрекает себя. В то время он не догадывался, что среди ученых из-за Солнца, едва ли не до изжили дней, велись настоящие битвы. Даже в учебнике «Синоптическая метеорология» (автор Хромов) написано следующее: «Много домыслов создается по поводу влияния солнечных пятен на погоду. Метеорологические исследования показывают, что это влияние имеется, но не очень велико. И возможности его прогностического использования крайне ограничены. Но для дилетантов, предсказывание погоды по солнечным пятнам является излюбленной темой».

Этот учебник вышел в начале сороковых годов после того, как прямую зависимость земной атмосферы от влияния активности Солнца доказали в своих трудах выдающиеся ученые Г. Дове, Р. Фицройер, К. Фламарион, Д. Уокер, Е. Федоров и А. Чижевский. Заме-

чательные совпадения во времени ряда земных и солнечных явлений прежде были только отмечены, но это совпадение не было изучено. Китайский энциклопедист Ма-Туан-Лин, живший задолго до нашей эры, автор древних арабских и армянских записей, киево-печерские и новгородские летописцы, создатели галльских и германских хроник зачастую сопоставляли явления, отмеченные на Солнце, в виде темных «образований» с земными явлениями в виде грандиозных геофизических катастроф, смертоносных эпидемий и массового голода.

С незапамятных времен природа впадала в буйство. Вот что доносят до нас летописцы о лете 1365 года: «Солнце бысть аки кровь и по нем места черны, аки гвозди. И сухмень великий был, и лес, и болота горящие, и реки пересохшие. И страх навеян по всей земле. И глад и мор был».

Не напоминают ли эти строки лето 1972 года в Европе и Африке?

В ранней юности Дьяков стал следить за Солнцем вначале через темное стекло. Потом раздобыл слабенький телескоп. Но в те времена он еще не мог вывести закономерностей между разбросанными по ослепительному кругу пятнами. Тогда еще не было ни календаря, ни графика наблюдений. Были лишь фундаментальная основа ученых-предшественников и невероятная жажда знаний. На практике все следовало познать самому. Надо было самому суметь воплотить исследования ученых в свою практическую деятельность. Для этого нужны были не только годы, но и определенная сумма дополнительных знаний: физики, биологии, географии и прочих наук. Это необузданное желание к познанию и привело Дьякова на физический факультет Московского государственного университета.

В 1936 году он как молодой специалист ехал в Сибирь на самостоятельную работу. Конечный пункт его следования был город Новокузнецк. Конкретно — Кузнецкий металлургический комбинат. И хотя гигант черной металлургии еще за четыре года до его приезда выдал свою первую продукцию, тем не менее перенец тяжелой индустрии Сибири продолжал расти. Строились новые цехи, прокатные станы, воздвигались домовыми морозами. Некоторые американские специалисты считали, что в условиях Сибири металлургический завод вообще не сможет работать. Впрочем, так же думали и кое-кто из металлургов, приехавших с южных заводов. Кузнецчанам предстояли серьезные испытания. Первая же эксплуатационная зима по своей суровости превзошла самые мрачные прогнозы. В январе 1933 года морозы доходили до минус 50 градусов. Вот краткая запись из хроники комбината: «...начались бураны. 3—4—5—6-го числа началась вьюга. Все леденело. Мороз крепчал. Седьмого января температура — минус 32 градуса, 8-го — минус 38 градусов, 9-го — минус 45. 10 января термометры не выдержали — лопнули. Часть из них днем показывала минус 46. Туман. Механизмы отказывали в работе. Возникли аварии, простои».

Словом, зима внесла полный беспорядок. И вот тогда Министерство черной металлургии решило создать здесь метеослужбу, чтобы обеспечить долгосрочный прогноз погоды, которого в то время не давала ни одна метеостанция Советского Союза.

Служба погоды была создана в 1934 году Эммануилом Мартыновичем Шнурре. Но точных долгосрочных прогнозов она так и не смогла дать. Поэтому, когда в отделе кадров ознакомились с личным делом Дьякова и узнали о его увлечении, ему предложили возглавить бюро погоды.

С того дня, когда он принес свой первый прогноз, прошло 43 года. Анатолий Витальевич хорошо помнит тот день и прогноз. Он начинался так: «...Горная Шория оказалась в зоне антициклона, охватившего почти всю



Анатолий Витальевич Дьяков

территорию Западной Сибири. Ожидается малооблачная погода, благоприятная для строительных работ...»

Так продолжалось целый месяц. А потом пошли затяжные дожди. С печальным видом носил молодой метеоролог на вечерние доклады неутешительные прогнозы. На него уже стали поглядывать косо и недоверительно.

— Почему не даете хорошие прогнозы? — нередко спрашивал начальник строительства.

Но что он мог ответить? В то время он еще не мог на практике проверить взаимосвязь активности Солнца с земными явлениями. Предстояло заново перечитать труды ученых в этой области, вывести закономерности, присущие географической точке, где находилась его метеостанция. Массу записей из прочитанных книг хранят его блокноты. Сколько бессонных ночей провел он за этой работой!

И тут он впервые приподнял завесу над тайной природы. Еще в середине июля через телескоп обнаружил на Солнце сильные взрывы, запечатленные на экране для зарисовки солнечных пятен, в виде темных, расплывшихся по поверхности точек. И вот теперь, соотнеся записи и зафиксированные на центральной части солнечного меридиана пятна, он сделал заключение, что наибольшая активность Солнца отражается для Сибири в виде проливных дождей.

И еще один вывод сделал Дьяков: в то время, как в Сибири идут проливные дожди, в Европе стоит жесточайшая засуха. Значит, подтверждается учение о том, что чем больше солнечных пятен, тем больше подогревается полярная шапка и тем сильнее восточные ветры вокруг нее. И этими восточными ветрами, т. е. антициклонами, создается зона высокого давления, которая концентрируется на европейской части СССР.

Благодаря этому открытию Дьяков сумел вывести закономерности причин капризов погоды и составить график засух за прошедшие сто лет, начиная с 1870 и кончая 1972 годом.

## ЗЕМНОЕ ЭХО СОЛНЕЧНЫХ БУРЬ

«...наше солнышко приходит в неистовство девять раз в столетие. Девять раз, по 2—3 года каждый раз, приступами его охватывают конвульсии, судороги, пароксизмы, и оно посылает в пространство осколки атомного и ядерного распада высоких энергий, мощные фотонные и радиоизлучения. Девять раз в столетие, в течение 2—3 лет каждый раз, все без исключения явления на Земле — синхронно, в мертвом и живом царстве, приступами — приходят в конвульсивное содрогание: страшные ливни, наводнения, смерчи, торнадо, ураганы, бури, землетрясения, оползни, вулканическая деятельность, полярные сияния, магнитные и электрические бури, сокрушительные грозы и вызываемые ими пожары лесов, степей и городов», — так писал еще в середине сороковых годов выдающийся советский ученый, создатель космической биологии Александр Леонидович Чижевский.

Лишь пять лет назад Дьяков нашел это высказывание. Но эту ярко и образно выраженную мысль, правда, иными словами, он также высказал в конце тридцатых годов. Весь смысл ее сводился к тому же заключению, какое высказал Чижевский. И возникла она после скрупулезного изучения особенностей активности Солнца.

Эти суммированные знания теории и практики давали ему возможность предвидеть момент наибольшей активности Солнца за много лет вперед. И предполагать, что в связи с бурей на Солнце возникнут сильные антициклональные движения на европейской части СССР.

Как размеры, так и яркость вспышек бывают различны. Обычно их делят на три класса по мощности,

т. е. по занимаемой ими площади полусферы Солнца. Установлено, что среднее число вспышек изменяется с циклом от нуля при минимуме до нескольких сотен в месяц при максимальной активности Солнца. Легко увидеть, какие пертурбации претерпевают на Земле в годы максимумов те явления, которые стоят в прямой зависимости от солнечных вспышек. Но это теперь легко и просто можно говорить о влиянии Солнца на климат Земли. В конце тридцатых, вплоть до начала шестидесятых, годов об этих закономерностях в ученом мире говорить было непросто. Отрицалось все новое, что несли с собой пионеры генетики, космической биологии, кибернетики и других «непонятных» наук. Сторонники генетики обвинили в контрреволюционных взглядах, противоречащих марксизму и материализму, хотя их выводы не были опровергнуты. Их отстранили от преподавания, перестали печатать. Словом, был применен административный подход к исследователю. Газета «Правда» впоследствии назвала такое отношение «аракчеевщиной в науке».

Это теперь в новых учебниках мы находим имена величайших ученых нашего столетия, которые раньше не упоминались. Можно представить, какое отношение было к этим людям, отрасль науки которых называлась не иначе, как лженаука, а их самих называли шарлатанами и дилетантами. Не удивительно, что и к Дьякову было применено подобное прозвище.

Мне приходилось встречаться с одним человеком, который назвал Дьякова шарлатаном и сказал буквально следующее: «Ну что он там видит на этом солнце? Дурачит нас какими-то пятнами, которых, может быть, вообще и нет в природе. Все это не серьезно. Дьяков рассказывал нам о том, как он предсказывает погоду. До того все научно и туманно, что лично я ничего не понял. Понял только то, что нашел человек теплое местечко, вот и пригрелся».

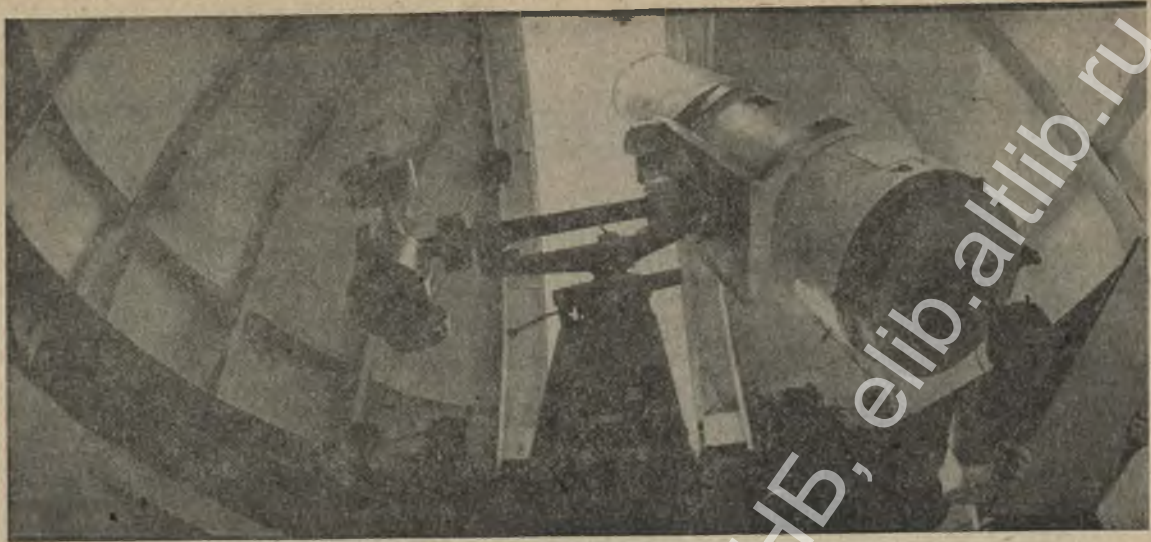
Автор должен заметить, что у Анатолия Витальевича отнюдь не теплое место, особенно когда он сидит целыми днями зимой перед телескопом. Что же касается его заработка, то он даже ниже среднеоплачиваемого станочника. Ну а условия жизни вне всяких сомнений оставляют право, желать лучшего.

Но Дьяков прежде всего держался не за место, а за науку, которой еще с детства отдал свое сердце. И все отношение к себе воспринимал не как должное, а как трагедию. Но не впал в уныние. Даже тогда, когда его отстранили от работы (на четыре года), Дьяков продолжал верить в разумное будущее... И оно наступило.

## КОГДА КРЕПЧАЕТ СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

В те самые трудные для Дьякова дни помощь пришла оттуда, откуда он ее меньше всего ожидал. Алтайский крайком партии, неожиданно лишившись прогнозов Дьякова (Дьяков работал и на Алтай), начал ходатайствовать о его восстановлении на работе. Дело в том, что по его прогнозам земледельцы Алтая даже в жесточайших условиях Кулундинской степи научились выращивать стабильные урожаи хлеба.

И если вспомнить прогноз погоды на лето 1979 года, данный Дьяковым для Западной Сибири и Северного Казахстана, то можно только удивляться, насколько точно, чуть ли не по дням, совпали периоды холода и тепла. Доказательством тому служит рекордный урожай в Омской области и Казахстане, где погода «играла», как по нотам. Но порою недоумеваем: почему Дьяков предсказывает такую-то погоду, а на самом деле не всегда получается так? Обратимся за примером к минувшему лету. До самого июля все складывалось именно так, как предсказывал Дьяков. Но потом произошло непонятное: вовремя не прошли июльские дожди, хотя и была волна холода, и в результате алтай-



В новой обсерватории

ский караван оказался не таким полновесным, каким представлялся в середине лета. Здесь все объясняется тем, что Анатолий Витальевич дал прогноз сразу на целый регион. И, видимо, нашему краю есть смысл запрашивать специальный прогноз на лето или же на зиму. Что же касается прогноза, даваемого Дьяковым на область или край отдельно, то он исполняется абсолютно точно.

Теперь-то мы уже знаем, что когда крепчает солнечный ветер, то на земле эхом отражаются его порывы. И это уже стало не догадкой, а хорошо проверенной на практике истиной. Именно эти знания помогают нашему народному хозяйству в деле обеспечения страны достаточным запасом продовольствия.

В связи с этим снова вспоминается весна 1972 года. В Сибири она была ранняя, сухая и знойная. Особенно огорчала она земледельцев Кулундинской степи. Помнится разговор с директором совхоза «Славгородский» Александром Андреевичем Финком во время сева: «Не знаю, что и делать. То ли сеять, то ли нет, чтобы хоть семена не портить? Да вот Дьяков обещает дождливое лето. Хоть он и раньше не подводил нас, но на этот раз, кажется, ошибается старик. Что-то не так».

Но «старик» не ошибся. От 20 до 25 центнеров зерна с гектара собрали в тот год кулундинские хлеборобы. Такого рекорда еще не знала засухливая степь. Год оказался необыкновенным. Огорчались только горожане — за лето им ни разу не удалось искупаться.

Именно в том, 1972, году за неутомимый труд в деле долгосрочного прогнозирования погоды и большой помощи, оказываемой сельскому хозяйству страны, Анатолий Витальевич Дьяков Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Теперь у него есть и другие награды, но самое дорогое для него было — признание. Оно у него теперь всемирное.

Вот как отзываются о докладе Дьякова на десятой Всемирной Ассамблее ученых международного астрономического союза, проходившей в Москве в 1958 году, журнал «Астрономия» — орган французского астрономического общества: «Мсье Дьяков в области детального изучения происхождения северных сияний и всех

других феноменов, связанных с земными явлениями, добился значительных успехов. Его исследования всегда вызывают большой интерес и позволяют выяснить механизм взаимодействия активности Солнца. Заключение достаточно ясно — воздействие активности Солнца ясно проявляется на смещении масс воздуха. Это влияние имеет последствием создание стратосферных систем чрезвычайно большой неустойчивости...»

Мсье Дьяков использовал эти выводы и вывел возможность предвидеть большие стратосферные события. Он уже мог выполнить многие предсказания достаточно точно...»

Сегодня и завтра у Анатолия Витальевича представляется безоблачным. И теперь он всецело может посвятить себя науке о Солнце, а значит, и о погоде. Жаль только, что не вернешь ушедшие годы, но между ним и сыном Камилем уже решено — тот продолжит дело отца. Скоро Камилль будет защищать свое первое ученое звание. Но для отца он всегда останется учеником. Хотя бы потому, считает, что ни один диплом не сможет заменить той суммы знаний, которые получает человек в процессе самообразования. Дьяков часто повторяет ставшее излюбленным изречение Циолковского: «Каждый настоящий ученый — это человек, который прежде всего все время учится в основном по книгам ученых, своих современников, а то и предшественников».

Сам же Дьяков учился всю жизнь. Самостоятельно изучил французский, английский и немецкий языки, для того чтобы читать в подлиннике не только литературу классиков науки, но и многочисленные письма и телеграммы...

#### ПИСЬМА, ТЕЛЕГРАММЫ...

Они идут в Темир-Тау со всего света. Каждый день на его рабочий стол ложатся аккуратные стопки. Ни одно из них не остается без ответа. Ответил он и на это письмо, пришедшее из НИИ овощеводства и бахчеводства Харьковской области:

*Уважаемый А. В. Дьяков. Прочла Ваш прогноз погоды от 2 января 1978 года. Конечно, для нас, ра-*

ботников сельского хозяйства, такой прогноз имеет большое значение. Но многие не верят, что есть такая обсерватория в Кузбассе и что Вы там заведуете...

Ответьте, пожалуйста, что Вы такой действительно есть и что прогноз дан именно Вами. Я верю в это, но хочу, чтобы поверили и другие...»

Действительно, еще много людей не знают о Дьякове, хотя о его удивительных прогнозах слышали многие. Это письмо, впрочем, как и другие письма и телеграммы, бережно хранит Анатолий Витальевич. В них он находит моральную поддержку. «Значит, нужен людям и стране», — заключает он. И поэтому он неутомим в своей работе. Дни и ночи напролет зорко стоит на вахте, чтобы в нужный момент всегда успеть заблаговременно предупредить людей о надвигающейся опасности.

#### ТЕЛЕГРАММА

«Дорогой сударь. Спасибо за Вашу телеграмму. Мы уже одеваемся в теплое манто (28 октября 1978 г.). У меня есть намерение распространить вашу телеграмму. Всякая новость о суровой зиме будет желательна.

Спасибо заранее. Бульвар Арагон. Париж».

Есть в этой телеграмме немного иронии. Не правда ли? Но зато после того, как прогноз действительно оправдался и изрядно напугал французов, к нему отнеслись с большим интересом.

#### ТЕЛЕГРАММА

«Превосходный! Спасибо за Ваши превосходные прогнозы! Можете ли приготовить, дорогой коллега, заметку о методике прогнозирования? Надо ли прибегать к активности Солнца? И как?

Вон ане! С новым годом! Бульвар Арагон. Париж».

#### СРОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА

«Прошу сообщить погодные условия в Северной Атлантике, в районе полуострова Сэйбл, в период сентябрь—октябрь месяцы. С уважением — капитан Нижельский. Одесса. НИИС (научно-исследовательское судно) «Сергей Королёв». 23. VIII—78».

#### ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА. СРОЧНАЯ

«Глубокоуважаемый капитан. В ответ на Ваш № 504 от 23. VIII, относительно погоды в сентябре—октябре сообщаю мои предположения. Штормовая погода с усилением западных и северо-западных ветров более 20 метров в секунду и волнением свыше пяти метров, следующие периоды: 5—10 сентября, 24—28 сентября, 10—17 октября, 27—28 октября. Особенно сильных штормов следует ожидать в третьей декаде сентября и второй декаде октября. Усиление ветра до 30—35 метров в секунду, волнение свыше 8 метров. Температура воздуха в сентябре плюс 12—20, в октябре—плюс 8—15. Следует опасаться айсбергов, движущихся от Гренландии в сторону Ньюфаундленда. Число их увеличится в третьей декаде сентября.

С уважением. Приветом Дьяков. 28 августа 1978 года».

30 августа Нижельский дал ответную телеграмму, извещающую о том, что ответ получен. А в канун седьмого ноября капитан поздравил Дьякова с праздником Октября и сообщил следующее:

«Глубокоуважаемый Анатолий Витальевич! Ваши предположения подтвердились полностью. Даты штормовой погоды, указанные Вами, совпали абсолютно точно. От имени экипажа выражаю искреннюю благодарность и восхищение Вашей работой...»

Приятное известие. И если разбирать почту Дьякова, то встретишь там массу интересных случаев. Вот, кстати, предупреждение, отправленное в Министерство сельского хозяйства СССР Юрию Ивановичу Бурякову, от 25 сентября 1978 года:

«Уважаемые товарищи, считаю своим долгом послать вам заблаговременно предупреждение о значительной суровости предстоящей зимы 1978—79 годов для всей Европы. Резкие холодные волны опустятся на европейскую часть СССР в третьей декаде декабря нынешнего года. Минимальная температура воздуха опустится на Севере ниже минус 30 градусов, в центре — минус 25—30, Украине — около минус 20—25 градусов. Во второй половине января 1979 года похолодание будет еще на 5—8 градусов ниже. Холодным волнам будут предшествовать интенсивные снегопады, метели в первых половинах декабря и января».

Такое же предупреждение Анатолий Витальевич отправил и в Париж. Дело в том, что он давно связан с французским астрономическим обществом, членом которого является с 1932 года. О том, насколько оправдался последний прогноз, мы с вами прочитали в самом начале в информации «Париж без электричества».

Анатолий Витальевич любовно достает из стопки то одну телеграмму, то другую. Бережно разглаживая уголки конвертов, говорит: «Вот это письмо из Томска, от директора областной сельскохозяйственной опытной станции, Героя Социалистического Труда, заслуженного агронома СССР, кандидата экономических наук Леонида Демидовича Анохина. Такие письма я особенно ценю. Хотите, прочту небольшую выдержку?»

«Мы очень благодарны Вам за прогнозы долгосрочные и ежемесячные, присылаемые в наш адрес. Они помогают нам ориентироваться в обстановке по проведению полевых работ. По долгосрочным прогнозам мы вычертили график, чтобы наглядно контролировать температуру и осадки. За прошедшие четыре месяца Ваш прогноз полностью подтвердился. Это позволило нам своевременно провести весенние работы и уложиться в запланированный график работ. Ваш прогноз помог в целом и всей нашей области...»

Идут и идут в Темир-Тау письма, телеграммы. Сегодня о Дьякове говорят много и с восхищением. Порою рассказы о нем насыщены такими невероятными фактами, которых никогда и не было. Но люди уверены, что Анатолий Витальевич — всевидящее око и не откажет в прогнозе никому. Поэтому и говорят, что он несколько раз предсказывал цунами Японии, Кубе, странам Латинской Америки.

Наслушаешься всех этих разговоров и невольно начинаешь искать в поселке необыкновенный дом Дьякова. Но сколько ни гляди на косогор, ничего необыкновенного не увидишь. С трудом отыскиваешь в глубине двора его дом. Единственное, что отличает его от других, соседских, — это небольшая башенка с наброшенным сверху куполом, горящим на солнце, как медный начищенный таз. До недавнего времени телескоп, установленный в ней, был единственным. Теперь же на горе Лудак выросла еще одна станция слежения за Солнцем. И с тех пор гелиометрическая станция стала называться обсерваторией.

Таких телескопов, какой установлен в новом помещении, у нас в стране немного. И хотя он не велик по размерам, но способен увеличивать отражение до двух тысяч раз. Этот новый телескоп, здание обсерватории, отстроенной по чертежам Пулковской в Ленинграде, — предмет особой гордости Анатолия Витальевича. И хотя летом он здесь почти не бывает, потому что тяжело стало приходиться сюда, но все оборудование, установленное в башне, всегда в полной готовности. Лишь включил мотор, и сразу же отодвигается огромный люк, похожий на продолговатую щель, и в небо вперяется полуметровый диаметр зеркала. Снова вклю-

чается мотор, и трехметровый телескоп, чем-то напоминающий миномет военных лет, начинает отыскивать в огромном куполе неба звезду или же Солнце. Найдя нужный объект, Дьяков включает автоматику, и теперь телескоп будет постоянно направлен на Солнце, до самого заката.

В новой обсерватории хозяйничает Камиль, Анатолий Витальевич появляется здесь только зимой, но бывает и так, что приходит и летом для консультаций студентам, которые живут здесь же, в обсерватории, на первом этаже. Зато зимой Дьякову намного проще подниматься на гору. Сядет в аэросани, заведет двигатель и вперед. Только деревья и кочки мелькают.

Эти аэросани, обсерваторию с новым телескопом и подставкой, закупленные во Франции, подарил Анатолию Витальевичу наше правительство. С тех пор появилась возможность еще более точно предсказывать погоду.

До приезда в Темир-Тау мне немало приходилось слышать о странностях характера Анатолия Витальевича. Но с первых же минут он поразил меня необыкновенной доброжелательностью и желанием рассказать как можно больше о своей работе. О Солнце он не просто говорил, а читал стихи. Для него Светило — это нечто одушевленное, о котором можно рассказывать часами без умолку.

Мы присидели с ним до самого вечера, а Анатолий Витальевич даже не растерял пыла — все так же увлеченно посвящал меня в тайны познания Солнца, объяснял научные термины, рассказывал массу интересных случаев из своей жизни. В эти часы он напоминал неутомимого мальчишку, подвижного, словно ртуть. Хотя ему уже стукнуло 66 лет и голова сплошь покрыта сединами. Лишь временами проглядывалась в его движении сутуловатость.

Когда, казалось, переговоры уже обо всем, мы прошли с ним через двор в башню. Анатолий Витальевич навел телескоп, и на экране отразился яркий диск Солнца. Почти по всему кругу, словно изъеденное оспой лицо, чернели пятна. То и дело по ним проплывали облака.

— Время немного неудачное, — говорит Дьяков, — облачность.

— А она как-нибудь отражается на погоде? Ведь облака-то перистые и находятся высоковольтно? — это я уже пытался реализовать свои знания.

— Вот именно, — ответил Дьяков, — перистые облака признаны предвестниками переменной, пасмурной, склонной к дождю погоды. Если после хорошей погоды барометр начинает падать и небо покрывают перистые облака в западной части средней Европы, то можно смело рассчитывать, что область бурь с Атлантического океана приближается к нашей стране. Вот смотрите, полосы этих облаков похожи на громадные вымпелы. Они в виде лучей растягиваются над морями и странами. И предвешают дурную погоду. Отсюда и выходит закономерность, что обилие перистых облаков совпадает с обилием солнечных пятен. А это значит, что полосы бурь и давлений, которые проносятся над нашими странами, бывают многочисленнее, чем в годы, когда меньше пятен.

Дьяков, взяв карандаш, бережно обводит им сол-

нечные пятна. Он полностью уходит в свою работу. Только губы его едва шевелятся, словно произносят какую-то молитву. Прислушался и никак не мог понять, что это он говорит:

— Все отмети, что мешает в пути,  
Коль не во тьму он, а к свету!  
Прежде чем выйти и спеть, и уйти,  
Надо ведь жить поэту!..

Неожиданно Анатолий Витальевич резко повернулся ко мне и спросил:

— Гете. Любите его? — И увидев мое недоумение, тут же добавил: — А Шиллера? Фейхвангера? Балзак? А наших современников — Евтушенко, Распутина, Шукшина? — И, не дождавшись моего ответа, продолжил: — Я их очень люблю. Просто не могу без хороших книг.

Так разговор непроизвольно и резко перешел от Солнца к литературе. Затем снова резкий поворот к фотографии, к технике, к медицине. И каждый раз думалось, когда забывал о том, что передо мной Дьяков, что беседую либо с фотографом, либо с литератором, с медиком или с инженером... Он так неожиданно менял тему разговора, что сразу просто невозможно было и сориентироваться. Только войдешь во вкус, а он уже говорит о другом.

Перед тем как расстаться, я спросил у него:

— Не можете ли вы сказать, какую погоду следует ожидать в ближайшем будущем? Когда наконец наступит благоприятная погода для выращивания хлеба в Западной Сибири?

— А это время уже пришло. И теперь вплоть до осени 1984 года будет благоприятная погода для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Что же касается европейской части Советского Союза и всей Европы, то здесь следует ожидать засуху в 1982—1983 годах. На территории Западной Сибири и Северного Казахстана засуха придет в 1985—1988 годах.

— А повторится ли прошлогодняя зима?

— Несомненно. Такая же суровая будет она как для Европы, так и для Сибири. Но в Сибирь настоящие морозы придут после Нового года, а для москвичей на десять дней раньше.

— Возможно ли в будущих прогнозах обходиться без дежурных слов «предполагаю», «вероятно»?

— Этот вопрос лично для меня очень серьезный. Вы уже заметили, какова реальность моих прогнозов, но я недоволен существующим положением. Все-таки не всегда возможно достаточно точно предсказать, какая погода будет через два-три года. Такое положение, думаю, останется и на далекое будущее. А вот прогнозы на два-три месяца мы обязаны давать достаточно точно. И вполне возможно, что в скором времени так и будет. Но здесь нужно все-таки объединение усилий — наших и Гидрометцентра. С современными аппаратами слежения за погодой уже сегодня можно добиться значительных успехов. Но поскольку мы не имеем возможности пользоваться информацией, поступающей с околоземной орбиты, то этим я и объясняю те малые проценты несовпадения в прогнозе, которые еще имеются.

Николай ЯНОВСКИЙ

# „Я — ЖИЗНЬ СВОЮ ДАЮ!“

ПОЭЗИЯ Н. М. ЯДРИНЦЕВА

1

Стихи Н. М. Ядринцев писал всю жизнь, начиная с детского возраста. Написал он сравнительно немного и поэтом профессиональным не стал, увлеченный путешествиями, наукой, публицистикой и художественной прозой. Но, характеризуя Ядринцева-писателя, мы не можем обойти его опубликованные и чаще не опубликованные при жизни поэтические произведения. В них тоже ярко и своеобразно отразилась личность Николая Михайловича, разносторонность его интересов, его этика и эстетика, главное направление всей его жизни.

Легко обнаружить в стихах Ядринцева разные погрешности. Писал он стихи по внутренней потребности, часто экспериментом, редко возвращаясь к ним с целью отделать, улучшить, углубить, так как по преимуществу и не помышлял об их публикации. Если исключить переводы легенд и песен народов Сибири, то Ядринцев более предпочитал «выразить себя» в новом стихотворении, чем возвращаться к тому, что уже как-то вылилось и отболело.

Газета «Сибирская жизнь», публикуя стихотворение «27 марта», сделала такое примечание: «Это стихотворение написано на полулисте, перегнутом пополам. На второй страничке помещено стихотворение, а на первой надпись рукой Н. М. Ядринцева: «Проект об уничтожении и т. д.», а далее внизу приписка: «А вышла поэзия». Это весьма типично для характеристики духовной личности Николая Михайловича, для его живого, впечатлительного и гибкого ума. Серьезная работа мысли над каким-нибудь общественным или научным вопросом не исключала у него возможности отвлечься и набросать или эле-

гические или шуточные строфы»<sup>1</sup>.

«Отвлечься», быть может, не совсем точное слово — стихи требовали и серьезной работы мысли и воображения, однако, учитывая эти особенности творчества Ядринцева, мы, знакомясь сейчас с лучшим из того, что им написано как поэтом, должны признать, что Николай Михайлович, несомненно, обладал поэтическим даром. В создавшихся условиях дар этот не получил должного развития, но стихи Ядринцева естественно вписываются в круг произведений, в которых повсему выражены переживания и мысли эпохи 70—80-х годов. Этим они примечательны. У нас нет оснований отделять стихи Ядринцева от его прозы и публицистики, от тех задач, которые он ставил перед собой как ученый и общественный деятель, как нет оснований и не замечать, в каком именно русле шла его поэтическая работа.

Мощное влияние двух поэтов ощущал на себе Ядринцев — Некрасова и Гейне. У шестидесятников, к которым Ядринцев причислял себя с полным правом, эти поэты пользовались исключительным вниманием. Гейне привлекал к себе как лирик с открытой гражданской направленностью и интенсивно переводился революционными демократами М. Михайловым и Н. Добролюбовым, а Н. А. Некрасов был выдающимся выразителем эпохи, насыщенной острейшими катаклизмами. У того и у другого поэта субъективное и объективное органично слиты и неразделимы. Глубокие личные переживания не были замкнутыми в самих себе, поэты питывали все многообразие внешнего мира, и какого бы предмета они ни

касались, он обязательно преобразовывался в преображенном виде личностью самих поэтов, находившихся в самом центре общественной и политической жизни своей страны. Это слияние личного и общественного, эта гражданственность и внутренняя сила, идущая от темперамента пишущего и от его убежденности, — характерная особенность почти всех немногочисленных стихов Ядринцева. Поэтика разнится в художественном уровне опытов Ядринцева и произведений классиков мировой литературы, но речь-то идет о направлении, о пафосе, о выборе метода.

Большая дружба связывала Ядринцева и Потанина. Она никогда ничем не омрачалась и сравнима, быть может, лишь с дружбой Герцена и Огарева. У Ядринцева и Потанина она началась в возбужденном Петербурге накануне «освобождения» крестьян от крепостной зависимости, в период зрелей революционной ситуации. Они дали клятву служить своей родине Сибири и вскоре выехали из столицы, чтобы будить общественность Сибири на серьезные выступления. К этому времени правительство уже расправилось и с Михайловым, и с Чернышевским, оружием подавляло возмущение крестьян их освобождением без земли, так что задача была не из легких. И надо думать, что эта дружба особенно укрепилась, когда на следствии, длившемся более трех лет, на суде Потанин всю вину по делу «сепаратистов» взял на себя как главный инициатор сибирской организации. Через несколько лет, когда гражданская казнь, учиненная над Потаниным, его пятнадцатилетняя каторга оказались позади, Ядринцев из ссылки посылает Потанину свое признание в любви. С согласия Потанина стихотворение опубликовано под названием «Неизвестному другу». Но для более или менее посвященных «друг» был известен, а для тех читателей, кто знать этого не могли, вставал образ двух много переживших, кристально чистых людей, ничего не утративших за долгие годы страданий и разлуки — ни высокого чувства дружбы, ни убеждений:

И когда слабели силы,  
Тень твою ко мне являлась,  
И душа моя незолно  
Снова силой обновлялась.

Стихотворение, разумеется, не притязательное, с легко уловимой интонацией из Гейне, но оно проникнуто большим искренним чув-

<sup>1</sup> Приложение к газете «Сибирская жизнь», 1903, № 121.

ством и той гражданственностью, какая была так свойственна его «любимому поэту».

В 1873 году Н. М. Ядринцев познакомился с А. Ф. Барковой, в 1874 году после освобождения из ссылки они соединили свои судьбы. Естественно, это событие личной жизни не могло не отразиться в лирике Ядринцева. Сохранилось лишь четыре стихотворения, которые посвящены другу, невесте и потом жене Аделаиде Федоровне, и в каждом из них виден «жар сердца» увлеченного и пламенного по характеру человека.

В 22 года Ядринцев арестован, только в 32 он освободился от бессрочной, по определению суда, ссылки. За эти десять лет Ядринцев три года отсидел в остроге, полгода шел этапом из Сибири в Архангельскую губернию, успел приобрести обширные знания, стать желанным автором лучших прогрессивных журналов страны, определить многочисленными статьями направление и качество казанской «Камско-Волжской газеты», издать обширное исследование «Русская община в тюрьме и ссылке»... И все это в условиях тюрьмы или глухого заштатного городка, где ни книг, ни каких-либо других нужных материалов для научной, публицистической и литературной работы. В первом же дошедшем до нас обращении к любимой возникает образ лирического героя, полного энергии: «Я шпорю время и коня». И читатель чувствует, что каждое слово стихотворения обеспечено реальным жизненным опытом поэта, его страстной убежденностью в необходимости именно такого поведения:

Я не страшусь — несчастий мой  
Носился надо мной,  
Но ты всегда со мною шла  
Неслышную стопой.

В любом из этих стихотворений их герой постоянно находится на пределе своих возможностей — «Пусть буря рвет мне волосы», «Пусть ветви бьют в лицо»: его то преследует гроза («И предсмертный дикий стон несся чайкой надо мной»), то, тревожный, он «кидается» в море, чтоб затем сказать избраннице суровое слово-предупреждение:

Но ты знаешь ли то море,  
Где купаюсь я всегда?  
Это — мир, где в волнах горя  
Тонут жизни без следа.

В стихах словесные формулы из любимых поэтов — «бедный

паж», «золотой кубок», «волны горя», но за такого рода абстракциями огромный эмоциональный напор и требование — верно, что бы ни грозило, служить общественному делу, которому герой посвятил жизнь.

Как бы мы сегодня ни относились к «областнической идее» Ядринцева<sup>1</sup>, мы должны признать, что любовь к родному краю была у Ядринцева действенной силой в защите интересов сибирских трудящихся. Для Ядринцева общие интересы Сибири неотделимы от интересов массы крестьянства и от массы ее абортинного населения, так называемых инородцев. В решении этого вопроса Ядринцев был последователен и непреклонен. В поэзии Ядринцева эта тема стала сквозной и удивительной по богатству переживаний, по интенсивности эмоций. До Ядринцева край, быть может, и не знал столь яростно-верного сибирского патриота. Теперь очевидны и сильные и слабые стороны его поэзии, обусловленные ходом российских событий, но чувство это, чувство любви к родине, остается священным и нетленным при всех поворотах истории, и оно сегодня так же действенно, как и сто лет назад, оно восхищает нас в этом незаурядном человеке, как бы он свою любовь ни выражал — в прозе или в стихах, в публицистике или научных работах.

Насильственно и надолго оторванный от Сибири, Ядринцев в начале 70-х годов то сетует, что любовь его к родине, увы, безответна («Тоской измученный, усталый и унылый...»), то мечтает о далекой встрече с нею, медленно рисуя картины, от которых становится «мучительно мило» («Разлука»), то пылко уверяет юношу: без такой любви не может быть ни веры, ни жизни («В век сомненья и безверья...»), то красочно живописует богатства Сибири, славит ее мощь и красоту («Родина»), то, наконец, дополняет все это изображением народных лишений и бедствий в такой благодатной стране («Kennst du das Land?»). Нет, последнее стихотворение не перевод из Гете, начальные слова из «Миньоны» лишь повод для выражения своих чувств и переживаний в связи с бедствиями, ка-

кие испытывает Сибирь. Не раз и не два печаль свою и боль, оттого что «земля родная» «стала страной несчастья», страной каторги и ссылки, он передает образно, с неотразимо действующей на читателя экспрессией:

И когда, скажи мне, счастьем  
и довольством  
Зацветет, зардеет дорогая нива?  
Нет кругом ответа... И я бьюсь  
с тоскою,  
Сын твой одинокий, о холодный  
камень бедной головою...

Однако в чем бы Ядринцев ни упрекал Сибирь, сколь бы к ней критично ни относился, он нередко патетически, иногда с ораторской интонацией, свойственной, кстати, Некрасову, все-таки признавался:

Неузнанный никем в земле моей  
родимой,  
Я в дальний путь изгнания пошел,  
Но все же край благословил  
свой милый,  
И имя прошентал страны  
своей любимой,  
В которой голос мой ответа  
не нашел.

Несколько позднее, в 1883 году, патетически-обличительный пафос сказался в «Песне с окраины», посвященной (что весьма показательно) памяти Н. А. Некрасова.

Ядринцев откликнулся на пятилетие со дня смерти поэта. Он называет его в «Песне» певцом России, жаждет, чтобы он проснулся, потому что лира его «чуждая», а «песня могучая», и лишь Некрасов, пробудясь, поможет приостановить «произвол рубля», обличить «наглый обман», принести в Сибирь «лучи правды и света». В «Песне» высокая оценка музыки Некрасова, тоска по новому поэту такой же взрывчатой силы, гневное обвинение толстосумов, грабящих страну и угнетающих народ, в ней целая программа действий для сибирского писателя — нещадно бороться с «темной силой» царящего всюду произвола. Скорбь Ядринцева вызвана, естественно, памятью о великом поэте, лира которого «умолкла навек», но также и тяжким положением Сибири:

Точно саваном тьмою одета,  
Ждет Сибирь лучи правды  
и света...  
Пробудись и напомни, поэт!  
Но умолкла навек твоя лира,  
И я слышу из лучшего мира  
Твой уж сказанный скорбный  
ответ,

<sup>1</sup> Подробней см. в статье В. К. Коржавина «К характеристике сибирского общественного движения второй половины XIX века». «Литературное наследство Сибири», т. 4.



Тот, что прежде ты молвил  
России:  
«И погромче нас были витии»,  
Только отклика жалобам нет!

Если вспомнить, что в стихотворении Некрасова «Убогая и нарядная» сказано: «И погромче нас были витии, Да не сделали пользы пером», то в заключительной строфе Ядринцева зазвучит не безнадежность, а призыв: не пора ли от слов и жалоб перейти к делу, тем более, что теперь от «общего стога» «отголосок донесся до трона»? Разумеется, эта строфа камуфляжная, для цензуры, ибо положение Сибири представлено в «Песне» в самых жестких красках: страна «слезами и кровью полита», в ней «глухо, темно, как в могиле», и не только человек, но и сама земля «чуть не стонет» от обмана, хищничества невежд и хапуг. «Песня с окранный» свидетельствует о критической направленности произведений Ядринцева-поэта, и не случайно он, как и вся передовая литература тех лет, немало уделяет внимания сатире.

Некоторые сатирические стихи Ядринцева составляют органическую часть его фельетонов, и он прибегает к стихам, потому что верит в их особенную образную действительность в разоблачении неправого суда («Ах, сильнее звучит набата...»), всеильных своей мощной кондратов, ополчившихся на местную «юную газету» («В альбом сибирской прессы»), друга-ташкентца, спокойно живущего в свое удовольствие, без чувства родины и без каких-либо целей, потребительски:

В тебе предупреждений нет,  
Как постоянной нет отчины,  
Сменяешь только лошадей  
Ты на веселом пире жизни<sup>1</sup>.

В фельетоне «В стране чудес и курьезов» Ядринцев под псевдонимом Добродушный сибиряк весьма к месту вмонтировал строфы, в которых образ Сибири в чем-то напоминает ее образ из «Песни с окранный», только не с элегической, а со зло-сатирической окраской. Нельзя не любить «родной Восток», но именно поэтому писатель не может и не хочет скрывать его вопиющие недостатки:

Видал ли ты тот чудный край,  
Где в страшной силе культ  
наживы,

<sup>1</sup> Добродушный сибиряк (Н. М. Ядринцев). Новости нашего Востока. «Камско-Волжская газета», 1873, № 97.

Где всем ворах отменный рай,  
Где лишь мошенники счастливы?  
Здесь жизнь повергнута вверх  
дном,

В ходу моральные уроды  
Ногами вверх, а в землю лбом  
Назло велениям природы!  
— Что говоришь? Помилуй бог!  
Воскликнул сонный обыватель, —  
Ведь это наш родной Восток,  
О, не буди меня, писатель!

Выразительным и самостоятельным сатирическим произведением Ядринцева является «Пельмень». Тот самый пельмень, что «лежал между Уралом и Амура берегами». Пельмень — это Сибирь, которую жрут российские «избранные» и сожрать не могут, потому что «тот пельмень мог уместиться лишь купцам сибирским в брюхо». Эти прожорливы и ненасытны. Может, настала пора пристроиться к жирному пельменю ненасытным, которых на этот званый пир и не пригласили? Российский чиновный люд способен лишь грабить, а не осваивать Сибирь, а сибирские купцы тоже не постесняются, слопают. Что же остается делать обыкновенному «сибирскому желудку»? Над такими вопросами заставлял задуматься Ядринцев своих современников.

Звучат в лирических стихах Ядринцева (условно говоря, начального периода) и упоение жизнью, и надежда, хотя колорит большинства из них минорный. Самый яркий из таких произведений следует назвать «песню косцов» «Балаган», в котором заметно влияние А. Кольцова. Однако образ балагана-Сибири оригинален и выстрадан поэтом. Он и непокрыт, и обгорел, заметен вышкой и проклят поселенцем. Но велика к нему любовь поэта, велика сила жизни простых людей-тружеников, косцов, помочан Сибири, и озаряется радостью «бедный балаган»:

Кончен труд тяжелый.  
Созывай же к пиру  
Ты жнецов усталых,  
Бедный балаган!  
Созывай и потчу  
Волою, до отвала,  
Угощай на славу  
Наших помочан!

«Наших помочан» — любопытное наименование тех же самых «российских», кого Ядринцев клеймит в сатире «Пельмень». Да, тех же, но другой социаль-

<sup>1</sup> «Восточное обозрение», 1888, 18.

ной группы — в этом суть совершающегося процесса, которого Ядринцев не мог не заметить. Стихотворения «Пельмень» и «Балаган» написаны в одном и том же 1873 году и, как видим, существенно дополняют друг друга. Как и в стихотворении «Родина» 1872 года, в «Балагане» блеснул для Ядринцева луч надежды, связанный с трудовым освоением Сибири русским крестьянством.

К таким произведениям в какой-то степени примыкают и стихи Ядринцева о суровой природе Сибири («Лес Севера» или «Ветрянка»), баллады, навеянные преданиями разных народов («Памяти предка», например, или «Питт Старший»). Все в природе, сколь бы неласковой она ни была, пропущено через душу поэта, связано с его судьбой или с его верой в лучшее будущее. А в балладах выражена тоска Ядринцева по сильному и цельному человеку, который всего себя отдает своему народу. О нем он мечтает, его нетерпеливо ждет:

О, отец моей отчины,  
О, герой могучей силы!  
Скоро ль этот день настанет  
И ты встанешь из могилы?

## 2

Велика заслуга Ядринцева-поэта в освоении темы коренных народов Сибири. Конечно, разрабатывать ее начали поэты-декабристы и поэты-сибиряки, как Ф. Бальдауф, например. Но Ядринцев не только последовал за складывающейся в Сибири традицией, но начал также переворачивать устную поэзию этих народов, бережно сохраняя ее подлинное содержание и красоту. Его можно по праву считать одним из пионеров, начавших планомерно приобщать Россию к художественным богатствам, какие накопили народы Сибири за свою многовековую историю.

Интерес Ядринцева к фольклору давний, к русскому в том числе. Хотя он и сурово отнесся к сибирякам, выходцам из России, когда утверждал, что ими «старинные песни и древний эпос утрачены», но в первой своей книге «Русская община в тюрьме и ссылке» писатель пристально всматривается в ссыльно-каторжную сибирскую поэзию, собирает и изучает ее, свидетельствует, что местные крестьяне «любят бродяжеские сказки и прибаутки», говорит о потребности арестанта «излить свою душу» в песнях, и позднее Ядринцев все-таки при-

шел к выводу, что его прежде заключение об утрате сибиряками фольклора относится «не ко всем слоям крестьянства»<sup>1</sup>. Что же касается фольклора народов Сибири, то тут писатель оказался и объективным и пронизательным. Он справедливо полагал, что в устной поэзии ярчайшим образом отразилась духовная жизнь этих народов, разумеется, по-разному в разные периоды их истории. «Прежде всего надо заметить, — пишет Ядринцев в предисловии к публикации алтайских легенд В. Вербицким, — что наши инородцы в Сибири как финского, так и тюркского и монгольского племени — далеко не дикари... Это остатки обширных племен Азии, имеющие свою культуру, свои воззрения, верования, выработанные веками». Затем, отметив близость этих народов к природе, Ядринцев тут же делает такое обобщение: «Воображение первобытного человека и его фантазия работают сильнее, стало быть, дают более и материала для художественных образов, и сравнений для поэзии. Весь жизненный опыт предшествовавших поколений, вся история культуры, история племен сохраняется у него не в книгах, а в преданиях, легендах, сказках...» А конкретно сказания о горах, собранные В. Вербицким, он оценил очень высоко: «Здесь из мира мертвой природы восстают перед вами живые мифологические существа; это древний мир богов, сошедший на землю, долго действовавший, совершивший здесь подвиги, подобно греческим богам...»<sup>2</sup>. Неоднократно мифы Греции будут возникать в работах Ядринцева, где он касается фольклора Сибири. Все это не что иное, как научное основание, на котором покоится ядринцевское изучение поэзии народов Сибири и принципа его переводов с киргизского, теленгитского и бурятского языков, его использование в стихах мотивов тунгусских или алтайских произведений народного творчества.

Ядринцев-переводчик стремится к возможной точности с неизменной передачей художественной мощи произведения. В этом смысле характерно его примечание к одной строфе в переводе ле-

генды «Мырат-пи». «Буквально в подлиннике сказано, — пишет он Г. Н. Потанину 9 сентября 1873 г., — «Та береза с хотма не упадет». Почему это и что значит, непонятно. Потому я изменил согласно русской поговорке: «Кривое дерево не исправится». Потанин, посылая Ядринцеву подстрочный перевод этой легенды с немецкого, дает ей оценку, с которой, видимо, был согласен и Ядринцев, поскольку он взялся ее перевести поэтически:

«Из алтайских песен, помещенных Радловым в «Архиве» Эрмана, я нашел достойной сообщить только одну о «Мырате», которая имеет психологическое и, следовательно, философское значение... Смотрите, как дикарь изобразил борьбу чувств против рассудка, бессилие опыта, учащего сердце»<sup>1</sup>. Но дело, видимо, не только в этом. Ядринцев вообще часто выбирает произведения народного творчества, в которых так или иначе изображалась борьба народа за свою самостоятельность и самобытность. Мырат-пи просит мать отпустить его «разогнать врагов дружину». А мать, отговаривая сына от похода, обращается к его гуманным чувствам: «Так несешь ты в сердце горе» — и поясняет свою мысль образом тысячи гусей-печалей:

Там на озере, где гуси  
Отродясь не ныряли,  
Ты гусей нырять заставил  
В виде тысячи печалей,  
Что ныряют в нашем сердце.

Известна сложность взаимоотношений русских с народами Сибири. Некоторые народы, жестоко теснимые джунгарами с Востока, добровольно присоединились к русским, но нередко также отдельные племена оказывали военной силе России сопротивление («Весь XVIII век, — писал Ядринцев, — проходит в усмирении инородческих бунтов»<sup>2</sup>), к тому же царское правительство часто применяло насилие; кочевников понуждали к оседлости, язычников принудительно обращали в христианство, насаждалась русификация неумело и грубо, скоропалительно, часто без острой нужды в данный момент. Ядринцев переведил легенды, в которых отразился этот труднейший процесс

взаимопроникновения культур и верований, процесс отталкивания и в конечном счете объединения под давлением складывающихся исторических условий в этом регионе мира.

В черновом переводе Ядринцева сохранилась «Тюремная песня алтайского батыра Канзы». Она пока так и не опубликована даже в фрагментах (см. рукопись «Песни о Родине», хранящаяся в ЦГАЛИ). В ней грустная история о том, как «бывший над русским Канза господином стал ныне пленным рабом». При каких обстоятельствах Канза был господином над русским, не сказано, видимо, в ходе сражений, длившихся иногда годами, но в плену Канза оказался потому, что русский властитель стал сильнее и «сорок разных племен покорил». И вся песня полна тоски по родине, стремлением вырваться из тюрьмы, из этого «шатра, ровно ящик»:

Будет ли день, чтобы только  
подрыться  
Так же, как выдра в снегу;  
Будет ли день, что на землю  
родную  
Снова взглянуть я смогу?

В 1874 году в «Камско-Волжской газете» опубликована киргизская народная легенда «Киргиз и казак». В ней уже речь идет о восстании под руководством Кенесары, лица исторического. Однако легенда слагалась, видимо, в среде сторонников присоединения к России, так как в песенном состязании киргизского ахына с казаком побеждает, по признанию самого Кенесары, казак, и побеждает он прежде всего своей убежденностью, что скоро и неизбежно «киргиз с казаком помирится». Ядринцев хорошо понимал, насколько не проста, остра и надолго злободневна была затрагиваемая в фольклорных произведениях проблема. Сам он, в стихах, посвященных народам Сибири, неизменно относится к ним с глубочайшим уважением, подчеркивая либо их лучшие национальные черты, либо то, что является достоянием общечеловеческой культуры «быта, чувств и мысли. В «Стреле» — смелость и гордость молодого татарина, выполнившего жестокий приказ своего вождя Кучума, в «Тунгусской легенде» — о подлинной большой любви девушки-тунгуски: она предпочла смерть жизни без любви. Поэтичен и выразителен шуточный «Роман». Он все о том же безоговорочно признании высших человеческих достоинств на-

<sup>1</sup> Н. М. Ядринцев. Сибирь как колония. 2 изд. Сиб., 1892, с. 131.

<sup>2</sup> «Литературный сборник», СПб., 1885, с. 338—339 (предисловие к работе В. Вербицкого опубликовано без подписи).

<sup>1</sup> Томский краеведческий музей, ф. Г. Н. Потанина, оп. 14, д. № 6.

<sup>2</sup> Н. М. Ядринцев. Сибирь как колония. СПб., 1882, с. 114.

родов иного склада и мирозерцания, чем, допустим, народы европейские. Лирический герой «Романса» полюбил «дикарку» и, конечно, утаил от всех ее происхождение:

В круг принцесс великосветских  
Азиатку я введу,  
Чтоб затмила красотой  
Она гордую среду.  
Но как в общество мы едем,  
Одного боюсь я,  
Что мешанское словечко  
Бухнет дурочка моя...

Изображает Ядринцев аборигенов края и в труде, часто изнурительном, и в минуты радостей от красоты природы, от хорошей песни, от удачливой охоты. Во всех случаях видно, что писатель обладает подлинными и обширными знаниями жизни, быта и нравов сибирских народов. Исследователь русско-алтайских связей Г. В. Кондаков, опираясь на многочисленные факты, верно определяет роль и значение выдающегося писателя-сибиряка:

«Научное и литературное наследие Н. М. Ядринцева — это интереснейший материал, в котором отразились все формы русско-алтайских литературных взаимосвязей: изучение истории, этнографии, фольклора алтайцев, сочувственное изображение алтайского народа в литературных произведениях, личные контакты с первым алтайским писателем М. В. Чевалковым, переводческая работа и т. д. Следовательно, творческая деятельность сибирского публициста и писателя — прообраз будущих отношений между представителями русской и алтайской культур. Политическая и научная ценность трудов Н. М. Ядринцева, посвященных Горному Алтаю, заключается в первую очередь в том, что исследователь помог выработать передовой подход к изучению культурного наследия алтайцев и других народов Сибири»<sup>1</sup>.

Однако характеристика Ядринцева-поэта будет неполной, если мы не коснемся редких его выступлений в последние годы жизни. Лирика этих лет большей частью опубликована после смерти Ядринцева, иногда десятком и более лет спустя. Публикаторы были правы, потому что в них каждый раз обнаруживалась не-

заурядная личность ученого и писателя, остро переживающего свои потери и беды, сквозь которые отчетливо проглядывают беды общественные.

В 1885 году в письме к А. Х. Христофорову Ядринцев делится первым впечатлением от только что прочитанной сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Колыбель»: «Сколько тоски, негодования, злости и самых противоположных чувств порождает этот образ! Вечно одинаковый, бесконечно несчастный, он остается рельефен и потрясает, как картина Спасителя на кресте. Но он же своей загадочной покорностью и неподвижностью заставляет кипеть и негодовать против него!»<sup>1</sup>

Здесь схвачено само существо позиции великого сатирика по отношению к русскому крестьянству, и, возможно, это была первая брешь в прочной, годами взлелеянной теории общинного крестьянского социализма.

В России издавна передовые люди вглядывались в события, происходящие в Западной Европе, с целью извлечь уроки из социально-экономического опыта и опыта социалистических движений. Но о каком опыте теперь может идти речь, если республиканская Франция стала образцовой буржуазной страной и ждет помощи от самодержавной России в ее «извечном» конфликте с Германией?! Именно об этом с паническим ужасом писал Ядринцев в рассказе «Ночь на Avenue de L'Opera».

Народническая революционность выдохлась к 1881 году. Россия погрузилась в мрак новой реакции, она переживала глубочайший кризис, затронувший самые основы русской культуры. Капитализм укрепляет свои позиции всюду, в том числе и в Сибири, рай капиталистических отношений нашел своих певцов и теоретиков. Ядринцев выступает с блестящим памфлетом «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад». В нем он проклял самодержавие и его защитников, а Чернышевского причислил к «великим людям отечества». Но все-таки автор не может скрыть своей растерянности. «Современное поколение, — говорит он с горечью, — живет крайностями — или не думает о судьбе отечества, или гибнет ни за грош, не сладив с жизненной борьбой. Психические болезни и усталость — печальный признак в среде интел-

лигенции»<sup>1</sup>. Объясняется это политикой тех, кто Россию пятит назад, но ясно также, что Ядринцев делится здесь своими разочарованиями и сомнениями, которые отныне целиком владеют им. Не менее плачевны его выводы, когда он оценивает международное положение России. «В пору кровавой войны, какой гений спасет Россию, когда все сделано к тому, чтобы задавить жизнь народного духа и таланта. Что сделает жалкий, забытый, лишенный образования народ? В силах ли он будет противостоять просвещенному врагу?». Оценка народа и в 1891 году дана в духе идей Салтыкова-Щедрина, в угнетенности народа видит автор решающий источник всех бед России. Одновременно Ядринцев дал понять, что положение и состояние русского крестьянства есть источник собственных страданий писателя.

В статьях, письмах, в прозаических художественных произведениях последних лет Ядринцев уверяет читателей и себя, что он возродился, бодр и с надеждой смотрит в будущее, однако тщетно было бы искать в этих его работах и высказываниях стройную систему взглядов, он метался, впадал в крайности, тосковал, о взлете шестидесятых годов, мучился от внутренних противоречий, от бешеного наступления кондратов, проникавших со своей хищнической хваткой во все поры русского общества. И эта духовная драма писателя-демократа с наибольшей обнаженностью и откровенностью нашла отражение в его лирике. Внешним толчком к возникновению стихотворения могло быть что угодно — отъезд из Сибири, неудачи с газетой «Восточное обозрение», любовь, дурное настроение, но внутреннее содержание определялось этим общим состоянием писателя. Он стоял перед лицом грозного для него краха былых надежд и верований.

Трудно определить, с какого момента все началось. Во всяком случае в стихотворении, помеченном апрелем 1887 года и посвященном одной из первых женщин, переступивших порог университета, уже читаем о резком противопоставлении эпохи шестидесятых годов современному состоянию общества. Был «праздник света и свободы», теперь же «ночь повсюду день сменяет» и «гаснет

<sup>1</sup> См. «Литературное наследие Сибири», т. 4. Новосибирск, Западно-Сиб. изд-во, 1979, с. 219.

<sup>2</sup> Там же, с. 224.

<sup>1</sup> Георгий В. Кондаков. Связь времен. Русско-алтайские литературные связи дооктябрьского периода. Горно-Алтайское отделение Алтайского кн. изд-ва, 1979, с. 23.

<sup>1</sup> «Сибирская жизнь», 1910, № 107.

жизнь». «С немой грустью» перед текущим днем стоит лирический герой стихотворения, а впереди ни единого проблеска: «...в нашем храме лампа тоже догорает». Непереносимой тоской переполнено стихотворение «Прощание с Родиной» (1889). И не только потому, что автор расстается с любимым краем, а потому, что в нем он нашел все те же, как прежде, «тишь и гладь», «мрак и сон» и что он «все так же далеко» от того, что давно искал и продолжает искать. И состояние это у него стойкое. Через несколько лет, в 1891 году, в стихотворении «Под Красноярском» (есть его вариант «С тоскою я бросаю взор») у автора, хотя и без глубокого объяснения происходящего, вырывается настоящий «крик души»:

Любить хотел я, но любовь  
Моя отвержена была...  
И вот, измученный душой,  
Опять иду я в край чужой!

Все чаще в стихах повторяются слова «мрак», «гибель», «могила». Тоскою пронизаны даже крымские стихи и внешне умиротворенное стихотворение «27 марта», а одно из последних начинается строкой «Корабль мой на черных плывет парусах». Выплескиваются боль и «какая-то неприкаянность и обреченность». Стихотворение «Милый призрак...», иначе сказать, призрак давних грез, завершается так:

Отойди же, призрак неотвязный,  
В мрак забвенья снова отойди,  
И в душе, на гибель осужденной,  
Что прошло — напрасно не буди!..

Как ни странно, чувствуются реминисценции из поэзии С. Надсона с его образами — абстракциями и декламациями, однако каждая строка у Ядринцева пережита, своя, выстраданная, объята пламенем разлуки с мечтой навсегда.

Стихотворение «Самородок» кажется написанным в другой тональности, с другим наполнением — оно о верности своим идеям и родине. Тем не менее связано с неразрешимым для писателя противоречием — с одной стороны, самородок (что как и я, верен себе), с другой — ростовщик, пытающийся проникнуть в их — самородка и поэта — тайну. И поэт чувствует, что «тайна» их недолговечна, рано или поздно настанет день торга. Поэт решителен и мужествен в защите этой «тайны» — любви и веры, но снова ценою жизни:

Когда же вздумают купить,  
Я и на торг приду.  
Кто больше даст — пускай  
возьмет:  
Я — жизнь свою даю!..

И само по себе, и в окружении других стихов переживаемого Ядринцевым момента это сильное выражение воспринимается как жест отчаяния, именно в том же ключе, в каком рассказано нам о «холодном сосуде», куда перелит «весь мир моей души». Сосуд упал, вдребезги разбился, а с ним разбилась жизнь моя.

В замечательном по искренности и, вероятно, самом последнем стихотворении «Родине» Ядринцев называл себя по отношению к Сибири «непризнанным

пророком». Он осознает, выходит, что самого главного для нее он не сделал: сибирское крестьянство как было, так и осталось забаленным... Но служить своей отчизне он будет до конца, что бы с ним ни случилось!

Прошли года тоски и мук,  
И вот я, убежденный,  
Опять теперь к тебе стремлюсь  
Все так же вдохновенный.

А за всем этим, пусть не всегда точно и ярко сказанным, стояла целая жизнь поколений Ядринцева и Потанина, Оммулевского и Глеба Успенского, Надсона и Гаршина, многих других деятелей культуры, трагически переживших кризисную для России эпоху.

Перед читателем стихов Ядринцева встает лирический герой, который с обезоруживающей искренностью говорит о своих болях и страданиях, о своей любви к матери-родине, к Сибири. Он беспощаден, когда высмеивает бюрократию, буржуазных хищников, разных пособников царизма. Высокая страсть к защите интересов трудящихся питала ядовитый смех Ядринцева. Его лирика и переводы из фольклора народов Сибири расширяют представление о личности писателя и ученого, обогащают нас подлинными знаниями о делах и характере людей нашего прошлого. Подвиг Ядринцева-патриота по изучению Сибири, по пропаганде ее богатства и красот, по борьбе за процветание ее народов и сегодня может служить вдохновляющим примером. В конечном счете в этом смысле и значение стихотворений Н. М. Ядринцева.

# САТИРА И ЮМОР



*Валерий Сергеевич Золотухин родился в с. Быстрый Исток на Алтае в 1941 году. Окончил ВГИК. Актер театра драмы и комедии на Таганке, киноактер. Автор повестей и рассказов, публиковавшихся в журналах «Юность», «Аврора», составивших затем отдельную книгу — «На Исток-речушку, к детству моему» («Молодая гвардия», 1978). В альманахе «Алтай» публикуется впервые.*

**Валерий ЗОЛОТУХИН**

## ИМПРОВИЗАЦИЯ

РАССКАЗ ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА ЧАЙНИКОВА

Собрание родного коллектива было назначено на тринадцатое число. Причина сбора: два достойных члена коллектива должны были выразить добровольное желание поехать на уборку урожая. К тому же прошел слух, что недовольный последним спектаклем шеф будет делать очередной втык, как любит он сам выражаться.

Иван Чайников, не будучи от природы суеверным человеком, кое-чему в жизни научился и кое в кого поверил. Вообще, надо сказать, приметы, их толкования и всяческие предзнаменования расцветали в коллективе этого драматического театра махровым, опереточным цветом: некрещенные носили кресты, молились перед выходом, целовали друг друга голые коленки перед премьерой, старались увидеть нарождающийся месяц только слева и т. д. и т. п.

Но тринадцатое число, вопреки всем толкованиям, Иван считал для себя счастливым, потому что именно тринадцатого состоялось в свое время его торжественное снятие с роли Артуро Уи.

Проходя мимо туалетов, Иван весело приветствовал их смотрительницу и свою давнишнюю подругу тетю Глашу. Они не боялись друг друга и потому дружили. Больше того, они были по-своему влюблены друг в друга, но об этом после. А теперь...

Тетя Глаша, убирая пыль и грязь в театре, собирала все новости и настроения, знала многое наперед и не раз спасала Ивана от всяких неожиданностей и капризов Судьбы. Иногда Ивану казалось, что не премьерша, а она, Глаша, отсюда, из туалета, по телефону руководит театром, а может, и всем советским искусством. От нее Иван узнавал иногда такое, чего не знал даже главный.

Сегодня Глаша была, как никогда, не в форме. Ее уж предупредили, что она должна изъявить желание, то есть сделать почин и тем самым вдохновить других... Другие — это значило: Чайников. Иван успокоил ее: «Не убивайся, Глаша, переживем. И не такое бывало...» Они помолчали дружно, и Иван пошел на собрание. Он сел на нейтральной полосе, недалеко и не близко, а в самый раз, чтобы и не на глазах у главного и в то же время, чтобы хорошо его слышать.

...В каждом селе, как известно, свои порядки, и в каждом селе, как известно, свой дурак. Дурак — это не обязательно богом обиженный, с недостающим разумом человек, совсем не обязательно, а иногда даже наоборот. Дурак есть в любом нормальном коллективе. Дурак — это скорее положение, чем призвание.

Дурацкую роль на театре играет чаще всего самый умный, по принципу — умному в роли дурака прожить легче, чем дураку в роли умного. На эту роль не назначает главный, она приходит сама, по стечению обстоятельств, прилипает сама собой. Человек и не подозревает, и не готовится к ней, но вдруг начинает ее играть. «Дураков не сеют, они сами рождаются» — поговорка неверная, во всяком случае касательно тех дураков, о которых речь идет. Дураков именно сеют, их делают сами люди. Дураки нужны нам, чтобы мы, остальные, чувствовали себя умнее. На кого же мы потом провалы наши сваливать будем, на умных, что ли?

Ну, об этом после. А теперь...

Иван не был ни особенно умным, ни особенно дураком, он был — Чайниковым. Старый дурак театра уходил на пенсию, а Иван чувствовал, что судьба готовит ему роль дублера. Да и Глаша подозревала то же самое.

И вот популярность Ивана в родном коллективе космически возросла. Он по-прежнему, как до, так и после, ничего не играл и не стремился, но имя его потихоньку сделалось прозвищем и вышло за пределы родного коллектива. «Ты вроде Чайникова», — говорила какая-нибудь жена какому-нибудь мужу. «Не будь Чайниковым», «Будь Чайниковым», «Все у тебя, как у Чайникова!» Чайников... Чайников... везде один Чайников, во всем и всюду он, как в стуле гвоздь.

А когда-то Иван жил тихо и незаметно, да и теперь был не совсем готов к столь ответственной роли, хотя и понимал, что другой кандидатуры на эту роль нет — в самом деле, не ставить же на нее народных, заслуженных, ведущих и подающих надежды! Ну, об этом после. А теперь... Шеф начал очередной втык сразу и просто: «Я кончаю с либерализмом, дорогие товарищи, — сказал он задумчиво и пошел, пошел, распалаясь. — Я прикрою эту богадельню... Я все вижу... Я все слышу... Шведский король был на спектакле... Король человек свежий, он сказал, что артисты забурели, не действуют, не общаются, каждый тянет на себя, текст засорен отсебятинами... Посмотрите на балетных, как они работают! У них волчий закон, закон сильного: я кручу шестнадцать, а ты пятнадцать, а если я буду крутить тридцать два, я — мастер, мне цены нет... А драматические артисты почему-то считают, что им не нужно тренироваться, дескать, было бы самочувствие внутри, выйду сейчас и дам. И дает, глаза бы не глядели. Почему вы не хотите крутить тридцать два? А Брехт, он жестокий автор, у него вопрос — ответ, вопрос — ответ... Поэтому диалог у вас не живой... Вы не рождаете эти замечательные образы, не тянете сквозное... Нет, вы, конечно, понимаете, что это премьера, и вы вздрючиваете свою эмоциональную... штуку, но, кроме этой штуки, хотелось бы знать, куда она направлена. Задумайтесь, товарищи».

В конце он, как всегда, в двух словах сформулировал свой единственно правильный взгляд на искусство: «Театр — это спорт, кто прыгнет выше, тот играет, и когда я — мастер, мне никто не посмеет сказать — тьфу».

О целине он не обмолвился. То ли не знал повестки дня, то ли забыл, то ли не верил в небывалый урожай, который без артистов ни за что не убрать, то ли не в том дело, не в том и не в этом.

Иван уважал в главном его принципы, но

всегда робел, когда тот их громко формулировал. Но только робел. Боялся же он заведующую труппой, которая уже встала и готовилась произнести речь, сортируя в руках «черные» листки, в коих содержалась обычно всякая пакость: опоздания, нарушения, злоупотребления... здесь же намеки на административные взыскания, и все это в самый неподходящий момент опрокидывалось на самые незащищенные головы, к коим относилась и голова Ивана Чайникова. На всякий случай Иван втянул голову в плечи, готовя себя ко всему... И все вокруг и около него тоже притихли, затаились.

«А меня беспокоит импровизация», — отчеканила завтруппой и стала собираться с дальнейшими мыслями. Иван перевел дух: «Ну это мимо... Пронесло... Импровизировать, слава те господи, мне негде. И потому слушаю тебя, зануда, и не боюсь ни капельки...»

Между тем голос завтруппой набирал силу и темперамент мысли: «Импровизация — вещь опасная. И мне кажется, дана она избранным. Владеть ею дано очень немногим... У нас же считают, что импровизировать имеет право каждый. От этого заблуждения я бы хотела уберечь некоторых артистов, дабы избавить их от лишних административных взысканий. Нет, импровизировать можно, сколько угодно, но на репетиции, под контролем режиссера, а не на публике, не на спектакле... А публика к нам ходит, сами знаете, дай бог, чтобы другие театры имели такую публику! И эта публика слышит иногда такие перлы импровизации, что хоть стой, хоть лежи. У меня тут записаны некоторые импровизации. Нет, конечно, не все и не самые лучшие, но все же... Вот, например, в картине «Трюмы». Идет пантомимическая сцена, только музыка и движения... Сцена рассказывает о каких-то вещах языком тел, посредством пластического, так сказать, разговора... И вдруг этот пластический разговор разрезается фразой: «А, попались, голубчики!» Какие «голубчики», почему?! Иван Васильевич, это ваша, кажется, импровизация? В общем, у меня тут много... не буду читать все, что первое попало в поле зрения, так сказать...»

Она еще долго кого-то ругала и на кого-то рыгала, но Иван уже ничего не соображал. «За что? — думал он. — Что случилось... что я сделал такого?.. Не я ли тебе, зануда, надувного зайца купил в юбилей!»

Иван очнулся, когда кто-то говорил о том, что надо кого-то куда-то послать, и тут он поднял руку вверх... Родной коллектив замер. Не надо забывать, что старый дурак уходил на пенсию, а Иван подавал большие надежды.

Иван медленно встал, держась за спинку переднего кресла, и потихоньку начал: «Дорогие мои, хорошие... Мне очень неприятно под занавес, на закате моей артистической деятельности, получить подобное замечание. Я хотел в конце своем поставить красивую, жирную точку, а из нее получился «блям». Вы все талантливые, добрые, но постарайтесь, я вас очень прошу об этом, понять меня. Мне очень обидно, и я не знаю, как это произошло со мной... Я актер мхатовской школы, а также вахтанговской, и оружием импровизации пользуюсь очень редко. Согласен полностью с нашей дорогой завтруппой, что импровизация вещь опасная. Данная импровизация родилась у меня примерно на десятом спектакле. Алеша Факир делает так (в этом месте Иван показал, как делает Факир, — выпад на левое колено, с вытянутой вперед энергичной рукой), а я говорю: «А... попались, голубчики!» и смеюсь. Импровизировал я подобным образом сто с лишним спектаклей... Но после того, как вы, Людвиг Леопольдовна, сделали мне справедливое замечание, я не говорю больше «А... попались, голубчики», у меня остался только смех, но если надо, я уберу и смех... Но прошу все-таки смех мне оставить. Еще раз приношу глубочайшие извинения моим товарищам, больше импровизировать, не согласовав с главрежем и завтруппой, не буду. И прошу послать меня на уборку урожая, где я постараюсь восполнить пробел в моем актерском образовании...»

Иван кончил. Это была его первая за тридцать лет усердной работы столь длинная речь.

Родной коллектив стонал от восторга. И только одна тетя Глаша плакала в уголку. Она плакала от радости, что едет на целину в компании с артистом, самым безобидным на свете человеком.

Любимый коллектив разбрелся по кулуарам. Ивана тянуло к туалетам, к тете Глаше, и он пошел. Глаша знала, что в жестокие минуты она необходима ему, и ждала его.

— Вот тебе, Ваня, и тринадцатое число...

— Да, Глаша, вот такой «блям» получить в конце жизни — не всякая голова выдержит...

— Не убивайся, Ваня, шибко, — утешала его Глаша, — многое пережили, переживем и импровизацию.

Они помолчали дружно.

— Ваня, я давно у тебя хотела спросить: мы в один колхоз поедем или в разные?

— В один, Глаша, в один. Я тебя, ты меня извини, конечно, за артистку выдам, приготовься к этому делу. Дело для тебя это новое, но не сильно сложное...

— Как хочешь, Ваня, так и делай. Тебе виднее...

С этого дня началась в театре дурацкая вахта Ивана Чайникова. А как он ее нес и как ему помогала в том Глаша, об этом после. А теперь...

Василий НЕЧУНАЕВ

## ГРАМОТЕЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

---

### РУЧЕЙ

Ты откуда здесь? Ты чей?  
— Я ничей! — сказал ручей. —  
И ничей, и ниоткуда!  
Появился сам собой!  
И не думай, и не буду  
Разговаривать с тобой!

Зажурчал и вдаль помчался.  
Вешний свет в ручье качался.

А когда растаял снег,  
Смотрит кроха-человек:  
«Вот забава так забава!  
Был ручей — теперь канава!  
А канава чья? Ручья?» —  
«Ква-ква-квак! Моя! Моя!»

### ТАНЮШКИНЫ СЛЕЗКИ

Дразнилка

У Тани-танюни  
Все нюни да нюни!  
Смотри-ка, Танюшка,  
Какие цветы  
Сумела кукушка  
Наплакать... А ты!  
Поплачь-ка вот тут,  
Возле этой березки.  
А вдруг зацветут  
И «Танюшкины слезки»!

### ПЕТЯ-БУДИЛЬНИК

Есть очень хороший будильник на свете,  
И люди зовут его ласково Петей.  
Его не заводят и стрелки не ставят.

Он сам спозаранку подняться заставит.  
Пора подниматься придет человеку,  
И Петя-будильник кричит «Кукареку!».

### СТРЕКОЗА

Что за чудо-стрекоза?!  
Я смотрю во все глаза.  
Стрекоза растет, растет —  
Вырастает вертолет!

### ТЕНЬ

Каждый день,  
Не уставая,  
Ходит тень  
Вослед за Ваней.

Неужели ей не лень  
Зря слоняться целый день?!

### КАТИН ПОДАРОК

В новом платье наша Катя.  
Желтый жук у ней на платье.  
Не пугается жука  
Наша Ка-тень-ка!  
Кате хочется смеяться:  
«А зачем его бояться?  
Он ведь брошечный,  
Понарошечный!»

### ПРО ГРИБЫ

1

Собрались опята —  
Малые ребята —  
На лесной полянке,  
Встали на пенек,  
Подняли макушки,  
Говорят друг дружке:  
«До чего хороший  
Выдался денек!»

2

Вышел гриб-боровик —  
Здоровенный мужик,  
Вышел гриб на бугор,  
На бугор-косогор,  
Вышел, глянул вперед:  
«Это что за народ?!  
Эй, грибишки-грибы,



Али телом слабы?!  
Вызываю на бой!  
Налетайте гурьбой!  
Развернулся в груди:  
Ну-ка, тронь подойди!  
Кулаки — под бока.  
И... застыл у пенька.

### ГРАМОТЕЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Как над нашим над селом  
Новость грянула, как гром!  
Стал петух большой ученый,  
Ходит с книгой золоченой.  
На прохожих смотрит косо,  
Держит гребень высоко  
И на всякие вопросы  
Отвечает: «Ко-ко-ко!»

А потом такие вести!  
Дескать, куры на насесте  
Книжки детские читают  
Желторотикам своим,  
Наизусть цыплята знают  
И Барто, и братьев Grimm.  
Мол, коза из магазина  
Выносила томик Грина,  
Мол, свинья по букварю  
«Пятаком» своим водила,  
Слог за слогом выводила,  
Повторяла: «Ха-Эр-Ю».

А недавно бык рогатый  
По селу пронес плакаты,

На плакатах говорится:  
«Все обязаны учиться!  
Изучай, живая тварь,  
«Речь родную» и «Букварь»!  
И теперь библиотеку  
Запрудили, словно реку.  
Не пройти в абонемент.  
И комолых, и рогатых,  
И мохнатых, и пернатых,  
И каких там только нет!

Нынче каждая корова  
Понимает с полуслова,  
Что ученье — это свет!

Только наш сыночек Вова  
За уроки не садится,  
Книгу в руки взять боится.  
Доживемся до греха!  
И к Володе консультантом  
По задачам и диктантам  
Звать придется петуха!  
Позовем козу с коровой,  
Пусть они займутся Вовой,  
Все в учебниках ему  
Объяснят от «Ме-е» до «Му-у»!

Будут нашему сынишке  
Увлекательные книжки  
Пересказывать цыплята...

И тогда-то! Вот тогда-то!  
Станет он среди детей  
Самый главный ГРАМОТЕЙ!

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА «АЛТАЙ»  
ЗА 1980 ГОД

ПРОЗА

- БЕСЧЕТНОВ ПАВЕЛ. Скажи, если успеешь.  
Роман. Окончание. I  
БОРОДКИН ПЕТР. Ползунов. Картины из жизни  
великого барнаульца. II  
БРОВКИН ВЛАДИМИР. Олекма. Рассказ. III  
ГУЩИН ЕВГЕНИЙ. Бабье поле. Повесть. На-  
чало. IV  
ЕРШОВ ЛЕОНИД. Встретились три друга.  
Рассказ. III  
ИСАКОВ СТ. Среди покоя. Рассказ. III  
ЛАГРАНСКИЙ ИЗМАИЛ. Ненужный человек.  
Рассказ. I  
ЛЕБЕДЕВ ИВАН. Жернова. Рассказ. III  
ПИЧУГИНА ЛЮБОВЬ. Ягода на свадьбу.  
Повесть. III

ПОЭЗИЯ

- АДАРОВ АРЖАН. Ленин и солнце. Стихи. I  
БАШУНОВ ВЛАДИМИР. Железный поезд мчит,  
не уставая. Стихи. II  
КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА. Живу я трудно, но  
счастливо. Стихи. I  
КОЗОДОВЕ ВЛАДИСЛАВ. А сколько нам до  
августа осталось... Стихи. IV  
ПАНОВ ГЕННАДИЙ. Первопроходцы. Поэма  
в сказах. II  
СОКОЛОВ ВЛАДИМИР. В июле. «Был ясный  
день...». Мгновение. «Острова Прибылова...».  
Старый волк. Окна. «На языке любви не-  
внятном...» Стихи. IV  
ЧЕРКАСОВ НИКОЛАЙ. Формула любви. Стихи. I  
ЮДАЛЕВИЧ МАРК. На перевалах бытия. Стихи. I

ПУБЛИЦИСТИКА, ОЧЕРК

- Взгляд в будущее. Беседа с первым секретарем  
Барнаульского горкома КПСС М. М. Си-  
доровым. II  
ВОРОЖБИТОВ В. Мед Алтая. III  
ГАЛИЦКИЙ ВЛАДИМИР. Далеко от войны. I  
ГРИШАЕВ ВАСИЛИЙ. Тетя Тоня, мать беспри-  
зорных детей. Рассказ архивиста. II

- ИЛЬИЧЕВ НИКОЛАЙ. Корабелы. II  
ШЛЕЙ ЕВГЕНИЙ. Земное эхо солнечных бурь. IV  
Краткая летопись Барнаула. II

КРИТИКА

- ГОРН ВИКТОР. «Это целая жизнь — чело-  
век...» III  
СЕРГЕЕВ С. «И недуг сердца заживает...» II  
ШЕВЧЕНКО ВИТАЛИЙ. Душевной зрелости при-  
мета. I  
ЯНОВСКИЙ НИКОЛАЙ. «Я — жизнь свою даю!»  
Поэзия Н. М. Ядринцева. IV

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- РАППОПОРТ АЛЕКСАНДР. Неизвестные произ-  
ведения С. Исакова. III

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

- КАЗАКОВ ВЛАДИМИР. Человек и любимое де-  
ло. К 50-летию В. Сергеева. III

ИСКУССТВО

- СОРОКИН Ю. Хлеб Сибири — тема художни-  
ков. I

САТИРА И ЮМОР

- ЗОЛОТУХИН ВАЛЕРИЙ. Импровизация. Из жиз-  
ни Ивана Чайникова. IV  
НЕХАЕВ ВЛАДИМИР. Дурак. Современная  
сказка. III  
КОФМАН ГРИГОРИЙ. Велосипед. Телефон. Куб.  
Обстоятельства. Четыре поры года. «За» и  
«против». Пара минут. Рассказы. III

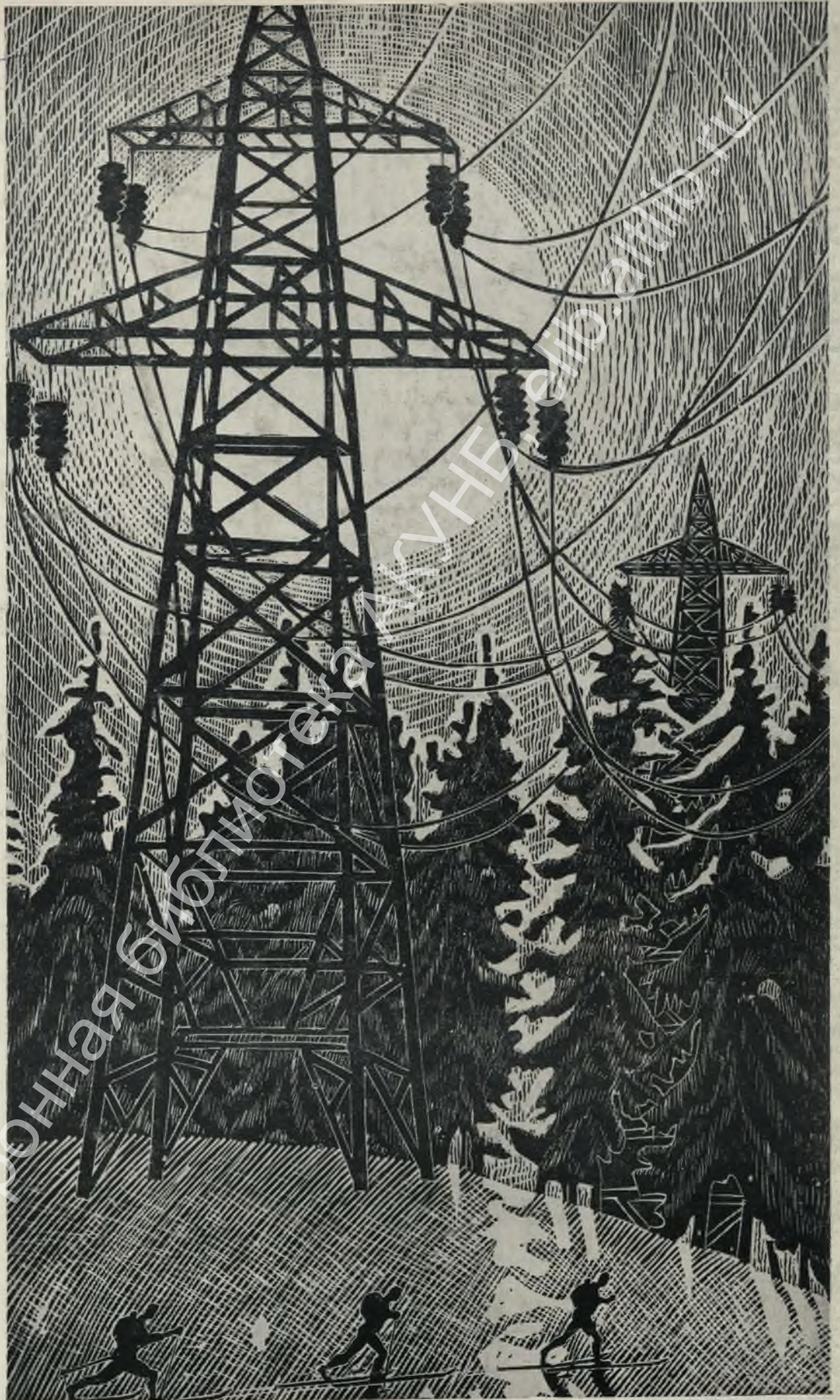
ДЛЯ ДЕТЕЙ

- НЕЧУНАЕВ ВАСИЛИЙ. Ходики-часы. Сказка. II  
«Грамотей среди детей». Стихи. IV



А. ВАГИН. 1. Зимнее солнце. 2. Зимняя сказка.

40 коп.



А. ВАГИН.  
Солнце Сибири.